

Николай Васильевич Гоголь

**Статьи и рецензии (1831-
1942)**

Содержание

ЖЕНЩИНА	0008
БОРИС ГОДУНОВ. ПОЭМА ПУШКИНА	0017
О ПОЭЗИИ КОЗЛОВА	0027
О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ	0032
ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 1836 ГОДА	0077
РЕЦЕНЗИИ ИЗ «СОВРЕМЕННОГО»	0105
Исторические афоризмы Михаила Погодина. Москва, Универс. тип. 1836 (8), VIII и 128 стр	0105
Плавание по Белому морю и Соловецкий монастырь, сочинение Я. Озерецковского. С.-П.- бург, 1836, в тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр	0113
Походные записки артиллериста, с 1812 по 1816 год, артиллерии подполковника И. Р... Москва, 1835–1836 г., в 8 д. Четыре части. Стр. 296–348—354—375	0113
Письма леди Рондо, супруги английского министра при российском дворе в царствование императрицы Анны Ивановны. Перевел с английского М. К. С.-П.-бург, в тип. III отделения собственной е. и. в. канцелярии, 1836, в 8, стр. 128	0115
Атлас к космографии, изд. Ободовским, СПб. 1836, в 2. XVI чертежей	0118

Мое новоселье. Альманах на 1836 год, В.
Крыловского. СПб., в тип. издателя, 206 стр.
0118

РЕЦЕНЗИИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «СОВРЕМЕННОМУ» . . .
0120

<Летописи русской славы со времен воцарения
на русском престоле благословенного Дома
Романовых. С.-П.-бург 1836, в тип. Хр. Гинце, в
16, 87 стр. с портретами.> 0120

<Детский Карамзин, или Русская история в
картинах, издаваемая Андреем Прево,
коммиссионером Общества поощрения
художеств, выходит тетрадями. С.-П.-бург, в
тип. Гинце, 1836, в 8 д. л.> 0121

<* Русские классики. Часть 1. Кантемир. 1836.
СПб., в тип. Гинце. Выходит небольшими
тетрадями.> 0121

<* История поэзии. Чтения адъюнкта
Московского университета Степана Шевырева.
Том первый, содержащий в себе Историю
поэзии индейцев и евреев, с приложением
двух вступительных чтений о характере
образования и поэзии главных народов новой
Западной Европы. Москва, в тип. Семена, 1835
в 8, стр. III — 333.> 0123

<Он и она. Роман. Москва, в тип.
Селивановского. 1836, в 12, 4 части,
169—170—182—163 стр.> 0124

- <Недовольные. Комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина. Москва, в тип. Степанова, 1836, в 8, 147 стр.> 0126
- <Путешествие к святым местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры. Издано М. Коркуновым. Москва, в Универ. тип., 1836, в 8, стр. 39.> 0126
- <Описание Прусского государства в географическом и статистическом отношениях, составленное Ардалионом Ивановым, воспитателем и наставником Императорского училища Правоведения. СПб., в тип. И. Глазунова, 1836, в 8. Часть первая, стр. 201.> 0128
- <Указатель губернских и уездных почтовых дорог в Российской Империи, составленный по новейшему учреждению почтовых дорог и станций г. Савинковым, с приложением дорожной карты. СПб., 1836, в б. осьмушку, 36 гравир. страниц.> 0129
- (Основание Москвы, или смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, взятый из времен княжения Изяслава Мстиславовича. Сочинение И... К...ва. СПб., в тип. Вингебера, 1836. Четыре части, стр. VII и 189—194—168—162.> 0130
- Убийственная встреча, повесть Я. А. СПб. 1836 г., в тип. Артил. департ. Воен. Мин. в 8, 113 стр.>

- 0134
<Картины мира, или полезное и приятное чтение для юношества. Часть 2-я. С.-П.-бург, 1836 г. (4).> 0134
- <Детский павильон. Книжка, содержащая в себе черты из русской истории, разные повести, разговоры, анекдоты, стихотворения, сказочки и проч., составленная на 1836 год Б. Федоровым. СПб., в тип. Гинце, 1836, в 16, стр. 320.> 0138
- <Прекрасная астраханка, или хижина на берегу реки Оки. Роман, взятый из истинного происшествия. Российское сочинение. Москва, в Универс. тип. 1836, в 12, две части, стр. IV и 42–76.> 0140
- <Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832 и 1833 годах, изданное Департаментом уделов. С.-П.-бург, в тип. Д. Внешней торговли, 1836, в 8, 158, с 4 черт.> 0140
- <Правила построения мореходных и речных пароходов. Перевел с английского корабельный мастер Василий Берков. СПб. 1835 года, в тип. Вингебера.> 0147
- <Полная ручная кухмистерская книга, выбранная из книжек: 1) Прибавление к опытному повару; 2) Полный кухмистер и кондитер и 3) Продолжение к книге — Полный

- кухмистер и кандитер; со многими прибавлениями; содержащая объяснение поварских терминов, и рисунок печи для московских калачей, составленная из собственных опытов Герасимом Степановым. Москва, в Универс. типогр. 1835, в 12, стр. VII и 310.> 0147
- <Торговый адрес-календарь, или Всеобщий коммерческий указатель Российского государства на 1836 год, составленный Викентием Жгерским, чиновником для особых поручений в Министерстве финансов, разных ученых обществ и иностранных академий действительным членом, СПб. 1836 в тип. Вингебера, в 8, стр. 128.> 0148
- РЕЦЕНЗИЯ ДЛЯ «МОСКВИТЯНИНА» 0149

Николай Васильевич Гоголь
СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ
1831–1842

ЖЕНЩИНА

«**А**дское порождение! Зевс Олимпиец! О! Ты неумолим в своей ярости! Ты захотел наслать бич на мир, ты извлек весь яд, незаметно разлитый в недрах прекрасной земли твоей, сжал его в одну каплю, гневно бросил ее светодарною десницей и отравил ею чудесное творение свое: ты создал женщину! Тебе завидно стало бедное счастье наше, тебе не желалось, чтобы человек источал вечное благословение из недр благодарного сердца; пусть лучше проклятие сверкает на преступных устах его... Ты создал женщину!» — Так говорил, представ перед Платона, Телеклес, юный ученик его. Глаза его кидали пламя; по щекам бушевал пожар, и дрожащие губы пересказывали мятежную бурю растерзанной души. Рука его с негодованием откидывала пурпуровые волны богатой одежды, и растегнутая пряжка небрежно висела на девственной груди юноши. «Что, мой божественный учитель? не ты ли представлял нам ее в богоподобном, небесном облачении? Не твои ли благоуханные уста лили дивные речи про

нежную красоту ее? Не ты ли учил нас так пламенно, так невещественно любить ее? Нет, учитель! твоя божественная мудрость еще младенец в познании бесконечной бездны коварного сердца. Нет, нет! и тень свирепого опыта не обхватывала светлых мыслей твоих, ты не знаешь женщины». — Огненные слезы брызнули из глаз его; окутав голову хитоном и закрыв лицо руками, прислонился он к мраморной колонне, на которой роскошно покоилось богатое коринфское оглавие, осыпанное искрами лучей. Глубокий, тяжелый вздох вырвался из груди юноши, как будто все тайные нервы души, все чувства и всё, что находится внутри человека, издало у него скорбные звуки, и звуки эти прошли потрясением по всему составу, и созерцаемая чувствами природа, в бессилии рассказать бессмертные, вечные муки души, переродилась в один болезненный стон. Между тем вдохновенный мудрец в безмолвии рассматривал его, выражая на лице своем думы, еще напечатленные прежним высоким размышлением. Так остатки дивного сновидения долго еще не расстаются и мешаются с началами

идей, покамест человек совершенно не входит в мир действительности. Свет сыпался роскошным водопадом чрез смелое отверстие в куполе на мудреца и обливал его сиянием; казалось, в каждой вдохновенной черте лица его светилась мысль и высокие чувства. «Умешь ли ты любить, Телеклес?» — спросил он спокойным голосом. — «Умею ли любить я! — быстро подхватил юноша. — Спроси у Зевса, умеет ли он манием бровей колебать землю. Спроси у Фидия, умеет ли он мрамор зажечь чувством и воплотить жизнь в мертвой глыбе. Когда в жилах моих кипит не кровь, но острое пламя, когда все чувства, все мысли, я весь перерождаюсь в звуки, когда звуки эти горят и душа звучит одною любовью, когда речи мои — буря, дыхание — огонь... Нет, нет! я не умею любить! Скажи же мне, где тот дивный смертный, кто обладает этим чувством? Уж не открыла ли премудрая Пифия это чудо между людьми?»

— «Бедный юноша! Вот что люди называют любовью! Вот какая участь готовится для этого кроткого существа, в котором боги захо-

тели отразить красоту, подарить миру благо и в нем показать свое присутствие на земле! Бедный юноша! Ты бы сжег своим раскаленным дыханием это кроткое существо, ты бы возмутил бурю страстей это чистое сияние! Знаю, ты хочешь говорить мне об измене Алкиной. Твои глаза были сами свидетелями... но были ли они свидетелями твоих собственных мятежных движений, совершавшихся в то время во глубине души твоей? Высмотрели ли ты наперед себя? Не весь ли бунт страстей кипел в глазах твоих? а когда страсти узнавали истину? Чего хотят люди? они жаждут вечного блаженства, бесконечного счастья, и довольны одной минутной горечи, чтобы заставить их детски разрушить всё медленно строившееся здание! Пусть глазами твоими смотрела сама истина, пусть это правда, что прекрасная Алкиноя очернила себя коварною изменой. Но вопроси свою душу: что был ты, что была она в то время, когда ты и жизнь, и счастье, и море восторгов находил в алкиноиных объятиях? Переверни огненные листы своей жизни и найдешь ли ты хотя одну страницу красноречивее, божественнее той? Захо-

тел ли бы ты взять все драгоценные камни царей персидских, всё золото Ливии за те небесные мгновения? И что против них и первая почесть в Афинах, и верховная власть в народе! И существо, которое, как Промефей, всё, что ни исхитило прекрасного от богов, принесло в дар тебе, водворило небо со светлыми его небожителями в твою душу, — ты поражаешь преступным проклятием; когда вся твоя жизнь должна переродиться в благодарность, когда ты должен весь вылиться слезами и умилением и кротким гимном жизнедавцу Зевесу, да продлит прекрасную жизнь ее, да ответит облако печали от светлого чела ее».

«Устрями на себя испытующее око: чем был ты прежде и чем стал ныне, с тех пор, как прочитал вечность в божественных чертах Алкиной; сколько новых тайн, сколько новых откровений постиг и разгадал ты своею бесконечною душою и во сколько придвинулся ближе к верховному благу! Мы зреем и совершенствуемся; но когда? когда глубже и совершеннее постигаем женщину. Посмотри на

роскошных персов: они переродили своих женщин в рабынь, и что же? им недоступно чувство изящного — бесконечное море духовных наслаждений. У них не выбьется из сердца искра при виде богини Праксителевой, восторженная душа их не заговорит с бессмертною душою мрамора и не найдет ответных звуков. Что женщина? — Язык богов! Мы дивимся кроткому, светлому челу мужа; но не подобие богов созерцаем в нем: мы видим в нем женщину, мы дивимся в нем женщине и в ней только уже дивимся богам. Она поэзия! она мысль, а мы только воплощение ее в действительности. На нас горят ее впечатления, и чем сильнее и чем в большем объеме они отразились, тем выше и прекраснее мы становимся. Пока картина еще в голове художника и бесплотно округляется и создается — она женщина; когда она переходит в вещество и облекается в осязаемость — она мужчина. Отчего же художник с таким несатым желанием стремится превратить бессмертную идею свою в грубое вещество, покорив его обыкновенным нашим чувствам? Оттого, что им управляет одно высокое чув-

ство — выразить божество в самом веществе, сделать доступною людям хотя часть бесконечного мира души своей, воплотить в мужчине женщину. И если ненароком ударят в нее очи жарко понимающего искусство юноши, что они ловят в бессмертной картине художника? видят ли они вещество в ней? Нет! оно исчезает, и перед ними открывается безграничная, бесконечная, бесплотная идея художника. Какими живыми песнями заговорят тогда духовные его струны! как ярко отзовутся в нем, как будто на призыв родины, и безвозвратно умчавшееся и неотразимо грядущее! как бесплотно обнимется душа его с божественною душою художника! Как сольются они в невыразимом духовном поцелуе!. Что б были высокие добродетели мужа, когда бы они не осенялись, не преображались нежными, кроткими добродетелями женщины? Твердость, мужество, гордое презрение к пороку перешли бы в зверство. Отними лучи у мира — и погибнет яркое разнообразие цветов: небо и земля сольются в мрак, еще мрачнейший берегов Аида. Что такое любовь? — Отчизна души, прекрасное стремление чело-

века к минувшему, где совершалось беспорочное начало его жизни, где на всем остался невыразимый, неизгладимый след невинного младенчества, где всё родина. И когда душа потонет в эфирном лоне души женщины, когда отыщет в ней своего отца — вечного бога, своих братьев — дотоле невыразимые землею чувства и явления — что тогда с нею? Тогда она повторяет в себе прежние звуки, прежнюю райскую в груди бога жизнь, развивая ее до бесконечности...» Вдохновенные взоры мудреца остановились неподвижно: перед ними стояла Алкиноя незаметно вошедшая в продолжение их беседы. Опершись на истукан, она вся, казалось, превратилась в безмолвное внимание, и на прекрасном челе ее прорывались гордые движения богоподобной души. Мраморная рука, сквозь которую светились голубые жилы, полные небесной амброзии, свободно удерживалась в воздухе; стройная, перевитая алыми лентами поножия нога, в обнаженном, ослепительном блеске, сбросив ревнивую обувь, выступила вперед и, казалось, не трогала презренной земли; высокая, божественная грудь колебалась вострево-

женными вздохами, и полуприкрывавшая два прозрачные облака персей одежда трепетала и падала роскошными, живописными линиями на помост. Казалось, тонкий, светлый эфир, в котором купаются небожители, по которому стремится розовое и голубое пламя, разливаясь и переливаясь в бесчисленных лучах, коим и имени нет на земле, в коих дрожит благовонное море неизъяснимой музыки, — казалось, этот эфир облекся в видимость и стоял перед ними, освятив и обоготворив прекрасную форму человека. Небрежно откинутае назад, темные, как вдохновенная ночь, локоны надвигались на лилейное чело ее и лились сумрачным каскадом на блистательные плеча. Молния очей исторгла всю душу... — Нет! никогда сама царица любви не была так прекрасна, даже в то мгновение, когда так чудно возродилась из пены девственных волн!. В изумлении, в благоговении повергнулся юноша к ногам гордой красавицы, и жаркая слеза склонившейся над ним полубогини канула на его пылающие щеки.

БОРИС ГОДУНОВ. ПОЭМА ПУШКИНА

(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЕТРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПЛЕТНЕВУ)

Книжный магазин блестел в бельэтаже ***ой улицы, лампы отбивали теплый свет на высоко взгроможденные стены из книг, живо и резко озаряя заглавия голубых, красных, в золотом обресе, и запыленных, и погребенных, означенных силою и бессилием человеческих творений. Толпа густилась и росла. Гром мостовой и экипажей с улицы отзывался дребезжанием в цельных окнах, и, казалось, лампы, книги, люди, всё окидывалось легким трепетом, удвоившим пестроту картины. Сидельцы суетились. «Славная вещь! Отличная вещь!» — отдавалось со всех сторон. «Что, батюшка, читали Бориса Годунова, нет? Ну, ничего же вы не читали хорошего» — бормотала кофейная шинель запылавшейся квадратной фигуре. «Каков Пушкин?» — сказал, быстро поворотившись, новопеченный гусарский корнет своему соседу,

нетерпеливо разрезывавшему последние листы. — «Да, есть места удивительные!» — «Ну, вот наконец дождалась и Годунова!» — «Как, Борис Годунов вышел?» «Скажите, что это такое Борис Годунов? как вам кажется новое сочинение?» — «Единственно! Единственно! еще бы некоторой картины... О, Пушкин далеко шагнул!» — «Мастерство-та, главное — мастерство; посмотрите, посмотрите, как он искусно того...» — трещал толстенькой кубик с веселыми глазками, поворачивая перед глазами своими руку с пригнутыми немного пальцами, как будто бы в ней лежало спелое прозрачное яблоко. «Да, с большим, с большим: достоинством! — твердил Сухощавый знаток, отправляя разом пол унции табаку в свое римское табакохранилище. — Конечно, есть места, которых строгая критика... Ну, знаете... еще молодость... Впрочем, произведение едва ли не первоклассное!» — «Насчет этого позвольте-с доложить, что за прочность» — присовокупил с довольным видом книгопродавец: — «ручается успешная-с выручка денег...» — «А самое-то сочинение действительно ли чувствительно написано?» — с смирен-

ным видом заикнулся вошедший сенатский
рябчик. «И конечно чувствительно!» — под-
хватил книгопродавец, кинув убийственный
взгляд на его истертую шинель: «если бы не
чувствительно, то не разобрали бы 400 экзем-
пляров в два часа!» Между тем лица беспре-
станно менялись, выходя с довольною миною
и книжкою в руках. В это самое время Элла-
дий подошел к другу своему Поллиору, рассе-
янно глядевшему на жадную толпу покупате-
лей. «Не правда ли, милый Поллиор! не прав-
да ли, что ни с чем не можешь сравнить этого
тихого восторга, напоющего душу при виде,
как пламенно любимое нами великое творе-
ние неумолкно звучит и отдается сочувстви-
ем во всех сердцах, и люди, кажется, отбежав-
шие навеки от собственного, скрытого в са-
мих себе, непостижимого для них мира души,
насильно возвращаются в ее пределы!» Мол-
чаливо и безмолвно пожал Поллиор ему руку.
Они вышли. Но ни томительный, как слия-
ние радости и грусти, свет луны, так дивно
вызывающий из глубины души серебряный
сонм видений, когда ночное небо бесплотно
обнимется вдохновением и земля полна

непонятной любви к нему, ни те живые чувства, пробуждающиеся у нас мгновенно, когда чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов, которых окна, как бесчисленные огненные очи, кидают пламенные дороги на снежную мостовую, так странно сливающиеся с серебряным светом месяца, — ничто не в состоянии было его вывести из какой-то торжественной задумчивости; какая-то священная грусть, тихое негодование сохранялось в чертах его, как будто бы он слышал в душе своей пророчество о вечности, как будто бы душа его терпела муки, невыразимые, непостижимые для земного... «Что же ты до сих пор, — спросил его Элладий, когда они вошли в его уединенную комнату, одиноко озаряемую трепетною лампой, — не поверг от себя дани нашему великому творению, не принес сильного выражения — истолкователя чувств в чашу общего мнения?»

«Ты понимаешь меня, Элладий, к чему же ты предлагаешь мне этот несвязный вопрос?»

что мне принести? кому нужна, кто пожелает знать мои тайные движения? Часто, слушая, как всенародно судят и толкуют о поэте, когда прения их воздымают бурю и запенившиеся уста горланят на торжищах — думаю во глубине души своей: не святотатство ли это? Не то же ли, если бы кто вздумал стремительно ворваться в площадь, где чернь кипит и суетится, исполняя обычные свои требы, и воссылать, упавши на колени, жаркие молитвы к небу? И что бы сказал я? — „Прекрасно! бесподобно, единственно!“ Но выразят ли эти слова хотя одну струю безграничного океана чувств? Бессильные! они от частого повторения людьми потеряли даже бедное собственное значение. Но еще бессмысленнее, еще смешнее мне кажутся люди, которые дарят поэтов, будто чинами, жалкими эпитетами, называют их первоклассными, как будто поэты, как растения или безжизненные минералы, требуют системы, чтобы удержаться в голове. Великий! когда разворачиваю дивное творение твое, когда вечный стих твой гремит и стремится ко мне молнию огненных звуков, священный холод разливается по жилам

и душа дрожит в ужасе, вызвавши бога из своего беспредельного лона... что тогда? Если бы небо, лучи, море, огни, пожирающие внутренность земли нашей, бесконечный воздух, объемлющий миры, ангелы, пылающие планеты превратились в слова и буквы — и тогда бы я не выразил ими и десятой доли дивных явлений, совершающихся в то время в лоне невидимого меня. И что́ они все против души человека? против воплощения бога? В какие звуки, в какие светлые звуки превращается она, разрешаясь от всего, носящего образ выразимого и конечного, сильным порывом вонзаясь в безобразную грудь его! Как горит, как сохнет бранный страдальческий состав! Как дрожит, как стонет бессильное земное, пока всё не сольется в духовное море, пока потоп благодарных слез не хлынет дождем в размученную грудь, не прольет примирения между двумя враждующими природами человека. Как суетны люди, требующие отчета впечатлений, произведенных великим созданием поэта, зная наперед, что он не будет ответом на безрассудное желание их! Когда из безобразного земного черепа извлекают ре-

зультат — ослепительный камень, когда из струн исторгают звуки — какой же они результат хотят извлечь из звуков? Может быть, и исполнится это желание, только когда? Когда человек исчезнет и душа на ветхих его развалинах воздвигнется в величественном, необъятном здании».

«Итак, по-твоему, — спросил его после мгновенного молчания Элладий, — люди не должны делиться между собою впечатлениями и сообщать, как откровения, хотя неполные отчеты чувств, может быть, убедившие бы других в духовной изящности создания?»

«Нет, Элладий, нет. Кто здесь требует убеждения, тому будут бесплодны все твои попытки возму<тить> его душу. Разогни перед ним великое творение. Читайте вместе, и если дивные его буквы не ударят разом в тайные струны сердец ваших, обратив в непостижимый трепет все нервы, не брызнут ответными слезами и души ваши почувствуют разьединение — закрой книгу и не трать пустых слов. Но если встретишь ты пламенно пони-

мающее тебя чувство — прекрасную половину прекрасной души твоей, — потребуете ли вы друг от друга отчета? К чему бы послужил он вам, когда вы так чудно сливаетесь в одно? И какая презренная радость сравнится с тем мгновением, когда творение разом читается в вас? Как понимаете вы его? „Боже! — часто говорю себе: — какое высокое, какое дивное наслаждение даруешь ты человеку, поселяя в одну душу ответ на жаркой вопрос другой! Как эти души быстро отыскивают друг друга, несмотря ни на какие разделяющие их бездны!“»

«Будто прикованный, уничтожив окружающее, не слыша, не внимая, не помня ничего, пожираю я твои страницы, дивный поэт! И когда передо мною медленно передвигается минувшее и серебряные тени в трепетании и чудном блеске тянутся бесконечным рядом из могил в грозном и тихом величии, когда вся отжившая жизнь отзывается во мне и страсти переживают<ся> сызнова в душе моей — чего бы не дал тогда, чтобы только прочесть в другом повторение всего себя?. какими бы,

казалось. Драгоценностями не искупил этого блага? „Возьмите, возьмите от меня всё, — воскликнул бы тогда с поднятыми руками к небесам, — и ниспошлите мне это понимающее меня существо. Всемогущий! зачем дал ты мне неполную душу? илиполни ее, или возьми к себе и остальную половину“».

«О, как велик сей царственный страдалец! Столько блага, столько пользы, столько счастья миру — и никто не понимал его... Над головой его гремит определение... Минувшая жизнь, будто на печальный звон колокола, вся совокупляется вокруг него! Умершее живет!. И дивные картины твои блещут и раздаются всё необъятнее, всё необъятнее, всё необъятнее... И в груди моей снова муки!. Ответные струны души гремят... Звон серебряного неба с его светлыми херувим<ам>и стремится по жилам... О, дайте же, дайте мне еще, еще этих мук, и я выльюсь ими весь в лоно творца, не оставя презренному телу ни одной их божественной капли...»

«Великий! над сим вечным творением тво-

им клянусь!. Еще я чист, еще ни одно презренное чувство корысти, раболепства и мелкого самолюбия не заронялось в мою душу. Если мертвящий холод бездушного света исхитит святотатственно из души моей хотя часть ее достоинства, если кремень обхватит тихо горящее сердце, если презренная, ничтожная лень окует меня, если дивные мгновения души понесу на торжище народных хвал, если опозорю в себе тобой исторгнутые звуки... О! тогда пусть оболъется оно немолчным ядом, вопьется миллионами жал в невидимого меня, неугасимым пламенем упреков обовьет душу и раздастся по мне тем пронзительным воплем, от которого бы изныли все суставы и сама бы бессмертная душа застонала, возвратившись безответным эхом в свою пустыню... Но нет! оно как творец, как благодать! ему ли пламенеть казнью? Оно обнимет снова морем светлых лучей и звуков душу и слезою примирения задрожит на отуманенных глазах обратившегося преступника!..»

О ПОЭЗИИ КОЗЛОВА

Светлый, полный — раздольное море жизни — мир древних греков не властен был дать направление поэзии Козлова. Когда весь блеск, всё разнообразие постоянно светлой, в бесчисленных формах проявляющейся жизни природы слились для него в одну ужасную единицу — в мрак, — могла ли душа жить прежними ясными явлениями? Как будто в иступлении, как будто подавляемая горестью, с порывом, с немолчною жаждою — торжествовать, возвыситься над собственным несчастьем, она искала другой встречи и в изумлении остановилась пред Байроном, так чудно обхватившим гигантскою мрачною душою всю жизнь мира и так дерзостно посмеявшимся над нею, может быть от бессилия передать ее индивидуальную светлость и величие. Душе нашего поэта желалось обвитья около этой гордо-одинокой души, исполински замышлявшей заключить в себе в замену отвергнутого собственный, ею же созданный, нестройный и чудный мир и, обвинившись около нее, горько улыбнуться уже не су-

ществующей для нее прежней Илиаде жизни. Кроткое христианское величие веры, так доступное человеку в то страшное мгновение перерождения его, — проникло и облекло чистым сиянием своим всё полученное им в сообществе с душою этого исполина, с которым меряться не имел он достаточных сил, и сообщило ему индивидуальность, без которой он был бы только бессильным подражателем. Но даже и в тихом порыве религиозной души своей, когда благословляет он тяжкий крест несчастий, вырывается у него скорбь, какое-то, можно сказать, даже злобное наслаждение души собственными муками. Он сильно дает чувствовать все великие, горькие траты сво<и>, часто собирает в один момент всё исчезнувшее, живо представляет его во всем ослепительном блеске, чтобы показать вместе, чего стоит ему позабыть и удалить мысль о нем. Глядя на радужные цвета и краски, которыми кипят и блещут его роскошные картины природы, тотчас узнаешь с грустью, что они уже утрачены для него навеки: зрящему никогда не показались бы они в таком ярком и даже увеличенном блеске. Они

могут быть достоянием только такого человека, который давно уже не любовался ими, но верно и сильно сохранил об них воспоминание, которое росло и увеличивалось в горячем воображении и блистало даже в неразлучном с ним мраке. Но и в сих созданиях, в которых кажется он стремится позабыть всё грустное, касающееся собственной души, и ловит невидимыми очами видимую природу, и здесь, и под цветами горит тихая печаль. Он весь в себе. Весь нераздельный мир свой носит в душе и не властен оторваться от него. Иногда стремление его центробежно и будто хочет разлиться во внешнем, но для того только, чтобы снова с большею силою устремиться к своему центру, самому себе, как будто угадывая, что там только его жизнь, что там только найдет ответ себе. Если он долго останавливается на внешнем каком-нибудь предмете, он уже лишает его индивидуальности, он проявляет уже в нем самого себя, видит и развивает в нем мир собственной души. Мне кажутся и донныне странными замечания и упреки многих Козлову, что в поэмах у него вечное торжество и однообразие жизни, что

лица его не имеют полной романической отделки и не живут собственной жизнью, что «Безумная» нимало не похожа на русскую крестьянку, словом, требуют от Козлова того, чего только вправе мы требовать от Пушкина, забывая, что для Козлова полная разнообразия внешняя жизнь не существует, что весь мир его сосредоточился в нем самом и его одного силен он следить в многообразных изменениях. А лица и герои у него только образы, условные знаки, в которые облекает он явления души своей. Что обнять во всей полноте внутреннюю и внешнюю жизнь — удел гения всемирного и что наконец Козлов относится к Пушкину так, как часть к целому. Поэт понимает всё достоинство последнего. Оно лестнее жаркой душе его и кадил и безотчетных хвал. И для кого не блистательна, кому незавидна участь: быть частью необъятного Пушкина!! [Новые прелестные стихотворения Козлова — «Субботний вечер», перевод и мелкие с трогательным посвящением — Прекрасным цветком, брошенным на гроб

*Той красоте, которой много
Российский жертвовал Парнас,*

*Когда туманною дорогой
Брела поэзия у нас.*

Находится в таких-то книжных лавках.
Продается по такой-то цене. (Прим. Гоголя.)]

О ДВИЖЕНИИ ЖУРНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 1834 И 1835 ГОДУ

Журнальная литература, эта живая, свежая, говорливая, чуткая литература, так же необходима в области наук и художеств, как пути сообщения для государства, как ярмарки и биржи для купечества и торговли. Она ворочает вкусом толпы, обращает и пускает в ход всё выходящее наружу в книжном мире, и которое без того было бы в обоих смыслах мертвым капиталом. Она — быстрый, своенравный обмен всеобщих мнений, живой разговор всего тиснимого типографскими станками; ее голос есть верный представитель мнений целой эпохи и века, мнений, без нее бы исчезнувших безгласно. Она волею и неволею захватывает и увлекает в свою область девять десятых всего, что делается принадлежностью литературы. Сколько есть людей, которые судят, говорят и толкуют потому, что все суждения поднесены им почти готовые, и которые сами от себя вовсе не

толковали бы, не судили, не говорили. И так, журнальная литература во всяком случае имеет право требовать самого пристального внимания.

Может быть, давно у нас не было так резко заметно отсутствия журнальной деятельности и живого современного движения, как в последние два года. Бесцветность была выражением большей части повременных изданий. Многие старые журналы прекратились, другие тянулись медленно и вяло; новых, кроме Библиотеки для чтения и впоследствии Московского наблюдателя, не показалось, между тем, как именно в это время была заметна всеобщая потребность умственной пищи, и значительно возросло число читающих. Как ни бедна эта эпоха, но она, такое же имеет право на наше внимание, как и та, которая бы кипела движением, ибо также принадлежит истории нашей словесности. Читатели имели полное право жаловаться на скудость, и постный вид наших журналов: Телеграф давно потерял тот резкий тон, который давало ему воинственное его положение, в

отношении журналов петербургских. Телескоп наполнялся статьями, в которых не было ничего свежего, животрепещущего. В это время книгопродавец Смирдин, давно уже известный своею деятельностью и добросовестностью, который один только, к стыду прочих недальнорких своих товарищей, показал предприимчивость и своими оборотами дал движение книжной торговле, книгопродавец Смирдин решился издавать журнал обширный, энциклопедической, завоевать всех литераторов, сколько ни есть их в России, и заставить их участвовать в своем предприятии. В программе были выставлены имена почти всех наших писателей. Профессор арабской словесности г-н Сенковский взялся быть распорядителем журнала; к нему был присоединен редактором г-н Греч, известный уже постоянным изданием двух журналов: Северной пчелы и Сына отечества. Не знаем, сами ли они взялись за сие дело или упрощены были г-ном Смирдиным; но в том и другом случае книгопродавец, по общему мнению, поступил несколько неосмотрительно. Успевши соединить для своего издания такое множе-

ство литераторов, он должен был предоставить их суду избрание редактора.

Никто тогда не позаботился о весьма важном вопросе: должен ли журнал иметь один определенный тон, одно уполномоченное мнение, или быть складочным местом всех мнений и толков. Журнал на сей счет отозвался глухо, обыкновенным объявлением, что критика будет самая благонамеренная и беспристрастная, чуждая всякой личности и неприличности, — обещание, которое дает всякой журналист. С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли одного, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков.

Книгопродавец Смирдин исполнил с своей стороны всё, чего публика вправе была от него требовать. Ту же самую честность, которая всегда отличала его, показал он и в издании журнала. Журнал выходил с необычно-

венною исправностию: подписчики вместе с первым числом каждого месяца встречали толстую книгу, какой у нас в прежнее время ни одна типография не могла бы поставить в два месяца. Вместо обещанного числа осьмнадцати листов в месяц, выходило иногда вдвое более. Теперь рассмотрим, исполнили ли долги, которым он вверил внутреннее распоряжение журнала. — Главным деятелем и движущею пружиною всего журнала был г-н Сенковский. Имя г-на Греча выставлено было только для формы, по крайней мере никакого действия не было заметно с его стороны. Г-н Греч давно уже сделался почетным и необходимым редактором всякого предприняемого периодического издания: так обыкновенно почтенного пожилого человека приглашают в посаженные отцы на все свадьбы. Но какая цель была редакции этого журнала, какую задачу предположила она решить? Здесь поневоле должны мы задуматься, что, без сомнения, сделает и читатель. В программе ничего не сказал г-н Сенковский о том, какой начертал для себя путь, какую выбрал себе цель; все увидели только, что он взошел незаметно

в первый номер и в конце его развернулся как полный хозяин.

Впрочем нельзя жаловаться и на это: положим, для журналиста необходим резкий тон и некоторая даже дерзость (чего однако ж мы не одобряем, хотя нам известно, что с подобными качествами журналисты всегда выигрывают в мнении толпы), но на что преимущественно было обращено внимание сего хозяина, какая мысль его пересиливала все прочее, к чему направлено было его пристрастие, были ли где заметны те неподвижные правила, без коих человек делается бесхарактерным, которые дают ему оригинальность и определяют его физиогномию?

Прочитавши всё, помещенное им в этом журнале, следуя за всеми словами, сказанными им, невольно остановимся в изумлении: что это такое? что заставляло писать этого человека? Мы видим человека, который берет деньги вовсе не даром, который трудится до поту лица, не только заботится о своих статьях, но даже переправляет чужие, одним

СЛОВОМ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕУТОМИМЫМ.

Для чего же вся эта деятельность? Последуем за распорядителем во всех родах его сочинений и скажем несколько слов о главных качествах его статей. Это во всех отношениях необходимо. Г-н Сенковский является в журнале своим как критик, как повествователь, как ученый, как сатирик, как глашатай новостей и проч. и проч., является в виде Брамбуса, Морозова, Тютюнджу Оглу, А. Белкина, наконец в собственном виде. Как ученый, г-н Сенковский поместил довольно большую статью о сагах, статью, исполненную ипотез, не собственных, но схваченных наудачу из разных бегло прочитанных книг, ипотез, вовсе не принадлежащих русской истории. Эти саги, которые проницательный Шлецер, не имеющий доныне равного по строгому и глубокому критическому взгляду, признал за басни, недостойные никакого внимания, эти саги он ставит краеугольным камнем русской истории и не приводит ни одного доказательства, поверенного критиком: он вовсе не определил их истинного и единственного до-

стоинства. Саги суть поэтическое создание народа, игравшего великую в истории роль. Эта статья, испещренная риторическими фигурами, понравилась добрым, но ограниченным людям, а г-н Булгарин даже написал рецензию, в которой поставил г-на Сенковского выше Шлецера, Гумбольта и всех когда-либо существовавших ученых. Другое весьма важное притязание г. Сенковского и настоящий конек его есть Восток. Здесь он всегда возвышал голос, и как только выходило какое-нибудь сочинение о Востоке или упоминалось где-нибудь о Востоке, хотя бы даже это было в стихотворении, он гневался и утверждал, что автор не может судить и не должен судить о Востоке, что он не знает Востока. Слово, сказанное с сердцем, очень извинительно в человеке, влюбленном в свой предмет и который между тем видит, как мало понимают его другие; но этот человек уже должен по крайней мере утвердить за собою авторитет. Г-ну Сенковскому точно следовало бы издать что-нибудь о Востоке. Человеку, ничего не сделавшему, трудно верить на слово, особливо, когда его суждения так легковесны и про-

никнуты духом нетерпимости; а из некоторых его отрывков о Востоке видны те же самые недостатки, которые он беспрестанно прицает у других. Ничего нового не сказал он в них о Востоке, ни одной яркой черты, сильной мысли, гениального предположения! Нельзя отвергать, чтобы г-н Сенковский не имел сведений; напротив, очень видно, что он много читал, но у него нигде не заметно этой движущей, господствующей силы, которая направляла бы его к какой-нибудь цели. Все эти сведения находятся у него в каком-то брожении, друг другу противоречат, между собой не уживаются. Рассмотрим его мнения, относящиеся собственно к текущей изящной литературе. В критике г-н Сенковский показал отсутствие всякого мнения, так что ни один из читателей не может сказать наверное, что более нравилось рецензенту и заняло его душу, что пришлось по его чувствам: в его рецензиях нет ни положительного, ни отрицательного вкуса, — вовсе никакого. То, что ему нравится сегодня, завтра делается предметом его насмешек. Он первый поставил г-на Кукольника наряду с Гёте, и сам же объ-

явил, что это сделано им потому только, что так ему вздумалось. Стало быть, у него рецензия не есть дело убеждения и чувства, а просто следствие расположения духа и обстоятельств. Вальтер Скотт, этот великий гений, коего бессмертные создания объемлют жизнь с такою полнотою, Вальтер Скотт назван шарлатаном. И это читала Россия, это говорилось людям уже образованным, уже читавшим Вальтер Скотта. Можно быть уверена, что г-н Сенковский сказал это без всякого намерения, из одной опрометчивости; потому что он никогда не заботится о том, что говорит, и в следующей статье уже не помнит вовсе написанного в предыдущей.

В разборах и критиках г-н Сенковский тоже никогда не говорил о внутреннем характере разбираемого сочинения, не определял верными и точными чертами его достоинства. Критика его была или безусловная похвала, в которой рецензент от всей души тешился собственными фразами, или хула, в которой отзывалось какое-то странное ожесточение. Она состояла в мелочах, ограничива-

лась выпискою двух-трех фраз и насмешкою. Ничего не было сказано о том, что предполагал себе целью автор разбираемого сочинения, как оно выполнил и, если не выполнил, как должен был выполнить. Больше всего г-н Сенковский занимался разбором разного литературного сора, множеством всякого рода пустых книг; над ними шутил, трунил и показывал то остроумие, которое так нравится некоторым читателям. Наконец даже завязал целое дело о двух местоимениях: сей и оный, которые показались ему, неизвестно почему, неуместными в русском слоге. Об этих местоимениях писаны им были целые трактаты, и статьи его, рассуждавшие о каком бы то ни было предмете, всегда оканчивались тем, что местоимения сей и оный совершенно неприличны. Это напомнило старый процесс Тредьяковского за букву ижицу и десятеричное і, который впоследствии еще не так давно поддерживал один профессор. Книга, в которой г-н Сенковецкий встречал эти две частицы, была торжественно признаваема написанною дурным слогом.

Его собственные сочинения, повести и тому подобное, являлись под фирмою Брамбеуса. Эти повести и статьи вроде повестей, своим близким, неумеренным подражанием нынешним писателям французским, произвели всеобщее изумление, потому что г. Сенковский оуждал гласно всю текущую французскую литературу. Непостижимо, как в этом случае он имел так мало сметливости и до такой степени считал простоватыми своих читателей. Неизвестно тоже, почему называл он некоторые статьи свои фантастическими. Отсутствие всякой истины, естественности и вероятности еще нельзя считать фантастическим. Фантастические сочинения Б <арона> Брамбеуса напоминают книги, каких некогда было очень много, как-то: «Не любо — не слушай, а лгать не мешай», и тому подобные. Та же безотчетность и еще менее устремления к доказательству какой-нибудь мысли. Опытные читатели заметили в них чрезвычайно много похищений, сделанных наскоро, на всем бегу: автор мало заботился о их связи. То, что в оригиналах имело смысл, то в копии было без всякого значения.

Таковы были труды и действия распорядителя Б<иблиотеки> для ч<тения>. Мы почти нужным упомянуть о них несколько обстоятельнее потому, что он один законодательствовал в Библиотеке для чтения и что мнения его разносились чрезвычайно быстро, вместе с четырьмя тысячами экземпляров журнала, по всему лицу России.

Невозможно, чтобы журнал, издаваемый при средствах, доставленных книгопродавцем Смирдиным, был плох. Он уже выигрывал тем, что издавался в большом объеме, толстыми книгами. Это для подписчиков была приятная новость, особливо для жителей наших городов и сельских помещиков. В Библиотеке находились переводы иногда любопытных статей из иностранных журналов, в отделе стихотворном попадались имена светил русского Парнаса. Но постоянно лучшим отделением ее была смесь, вмещавшая в себе очень много разнообразных свежих новостей, отделение живое, чисто журнальное. Изящная проза, оригинальная и переводная, — по-

вести и прочее, — оказывала очень мало вкуса и выбора. В Библиотеке для чтения случилось еще одно, дотоле неслыханное на Руси явление. Распорядитель ее стал переправлять и переделывать все почти статьи, в ней печатаемые, и любопытно то, что он объявлял об этом сам довольно смело и откровенно. «У нас, — говорит он, — в Библиотеке для чтения, не так, как в других журналах: мы никакой повести не оставляем в прежнем виде, всякую переделываем: иногда составляем из двух одну, иногда из трех, и статья значительно улучшается нашими переделками». Такой странной опеки до сих пор на Руси еще не бывало.

Многие писатели начали опасаться, чтобы публика не приняла статей, часто помещаемых без подписи или под вымышленными именами, за их собственные, и потому начали отказываться от участия в издании сего журнала. Число сотрудников так умалилось, что на другой год издатели уже не выставили длинного списка имен и упомянули глухо, что участвуют лучшие литераторы, не озна-

чая какие. Журнал хотя не изменился в величине и плане, но статьи заметно начали быть хуже; видно было менее старания. Библиотеку уже менее читали в столицах, но всё так же много в провинциях, и мнения ее так же обращались быстро. Обратимся к другим журналам.

Северная пчела заключала в себе официальные известия и в этом отношении выполнила свое дело. Она помещала известия политические, заграничные и отечественные новости. Редактор г-н Греч довел ее до строгой исправности: она всегда выходила в положенное время; но в литературном смысле она не имела никакого определенного тона и не выказывала никакой сильной руки, двигавшей ее мнения. Она была какая-то корзина, в которую сбрасывал всякой всё, что ему хотелось. Разборы книг, всегда почти благосклонные, писались приятелями, а иногда самими авторами. В Северной пчеле пробовали остроту пера разные незнакомцы, скрывавшиеся под разными буквами, без сомнения, люди молодые, потому что в статьях выказывалось до-

вольно удалства. Они нападали разве уже на самого беззащитного и круглого сироту. На-счет неопрятных изданий являлись остроумные колкости, несколько похожие одна на другую. Сущность рецензий состояла в том, чтобы расхвалить книгу и при конце сложить с себя весь грех такую оговоркою: «Впрочем желательно, чтобы почтенный автор исправил небольшие погрешности относительно языка и слога», или: «Хорошая книга требует хорошего издания», и тому подобное, за что автор разбираемой книги иногда обижался и жаловался на пристрастие рецензента. Книги часто были разбираемы теми же самыми рецензентами, которые писали известия о новых табачных фабриках, открывавшихся в столице, о помаде и проч.; сии известия иногда довольно остроумны и в шутках своих показывали ловких, и хорошо воспитанных людей, без сомнения, имевших основательные причины быть довольными фабрикантами. Впрочем от Сев<ерной> пчелы больше требовать было нечего: она была всегда исправная ежедневная афиша, ее делом было пригласить публику, а судить она

предоставляла самой публике.

Журнал, носивший название Сына отечества и Северного архива, был почти невидимкою во всё время. О нем никто не говорил, на него никто не ссылался, несмотря на то, что он выходил исправно еженедельно и что печатал такую огромную программу на своей обертке, какую вряд ли где можно было встретить. В Сыне отечества (говорила программа) будет археология, медицина, право-ведение, статистика, русская история, всеобщая история, русская словесность, иностранная словесность, наконец просто словесность, география, этнография, историческая галерея и прочее. Иной ахнет, прочитавши такую ужасную программу, и подумает, что это крупнейшее энциклопедическое издание, когда-либо существовавшее на свете. Ничуть не бывало: выходила худенькая, тоненькая книжечка в три листа, начинавшаяся статьею о каких-нибудь болезнях, которой не читали даже медики. Критическая статья, а тем еще более живая и современная, не была в нем постоянною. Новости политические бы-

ли те же сухие факты, взятые из Северной пчелы, следственно уже всем известные. Помещаемые какие-то оригинальные повести были довольно странны, чрезвычайно коротенькие и совершенно бесцветны. Если попадалось что-нибудь достойное замечания, то оно оставалось незаметным. Имена редакторов гг. Булгарина и Греча стояли только на заглавном листке; но с их стороны решительно не было видно никакого участия. Однако журнал существовал, стало быть, читатели и подписчики были. Эти читатели и подписчики были почтенные и пожилые люди, живущие в провинциях, которым что-нибудь почитать так же необходимо, как заснуть часик после обеда или выбриться два раза в неделю.

Издавалась еще в Петербурге в продолжение всего этого времени газета чисто литературная, освобожденная от всяких вторжений наук и важных сведений, не политическая, не статистическая, не энциклопедическая, любительница старого, но при всем том имевшая особенный характер. Название этой газеты: Литературные прибавления к Инва-

лиду. В ней помещались легонькие повести: беседы деревенских помещиков о литературе, беседы, часто довольно обыкновенные, но иногда местами проникнутые колкостями, близкими к истине: читатель к изумлению своему видел, что помещики к концу статьи делались совершенными литераторами, принимали к сердцу текущую литературу и приправляли свои мнения едкою насмешкою. Этот журнал всегда оказывал оппозицию противу всякого счастливого наездника, хотя его вся тактика часто состояла только в том, что он выписывал одно какое-нибудь место, доказывающее журнальную опрометчивость, и присовокуплял от себя довольно злое замечание не длиннее строчки с восклицательным знаком. Г-н Воейков был чрезвычайно деятельный ловец и, как рыбак, сидел с удой на берегу, не теряя терпения, хотя на его уду попадалась большею частию мелкая рыба, а большая обрывалась. В редакторе была заметна чисто литературная жизнь, и он с неохладжденным вниманием не сводил глаз с журнального поля. Я не знаю, много ли было читателей его газеты, но она очень стоила того,

чтобы иногда в нее заглянуть.

В Москве издавался один только Телескоп, с небольшими листками прибавления, под именем Молвы; журнал, вначале отозвавшийся живостью, но вскоре простывший, наполнявшийся статьями без всякого разбора, лишенный всякого литературного движения. Видно было, что издатели не прилагали о нем никакого старания и выдавали книжки как-нибудь.

Монополия, захваченная Библиотекою для чтения, не могла не задеть за живое других журналов. Но Северная пчела была издаваема тем же самым г-ном Гречем, которого имя некоторое время стояло на заглавном листке в Библиотеке как главного ее редактора, хотя это звание, как мы уже видели, было только почетное, и потому очень естественно, что Северная пчела должна была хвалить всё, помещаемое в Библиотеке, и настоящего ее движителя, являвшегося под множеством разных имен, называть русским Гумбольтом. Но и без того она вряд ли бы могла явиться сильною

противницею, потому что не управлялась единою волею; разные литераторы заглядывали туда только по своей надобности. Сын отечества должен был повторять слова Пчелы. Итак, всего только два журнала могли восстать против его мнений. Г-н Воейков показал в Литературных прибавлениях что-то похожее на оппозицию; но оппозиция его состояла в легких заметках журнальных промахов и иногда удачной остроте, выраженных отрывисто, в немногих словах, с насмешкою, очень понятною для немногих литераторов, но незаметною для непосвященных. Нигде не поместил он обстоятельной и основательной критики, которая определила бы сколько-нибудь направление нового журнала. Телескоп в соединении с Молвою действовал против Библиотеки для чтения, но действовал слабо, без постоянства, терпения и необходимого хладнокровия. В статьях критических он был часто исполнен негодования против нового счастливецца, шутил над баронством г-на Сенковского, сделал несколько справедливых замечаний относительно его странного подражания французским писателям, но не видел

дела во всей ясности. В Молве повторялись те же намеки на Брамбеуса часто по поводу разбора совершенно постороннего сочинения. Кроме того, Телескоп много вредил себе опаздыванием книжек, неаккуратностью издания, и критические статьи его чрез то еще менее были в обороте.

Очевидно, что силы и средства этих журналов были слишком слабы в отношении к Библиотеке для чтения, которая была между ними, как слон между мелкими четвероногими. Их бой был слишком неравен, и они, кажется, не приняли в соображение, что Библиотека для чтения имела около пяти тысяч подписчиков, что мнения Библиотеки для чтения разносились в таких слоях общества, где даже не слышали, существуют ли Телескоп и Литературные прибавления, что мнения и сочинения, помещаемые в Библиотеке для чтения, были расхвалены издателями той же Библиотеки для чтения, скрывавшимися под разными именами, расхвалены с энтузиазмом, всегда имеющим влияние на большую часть публики; ибо то, что смешно для чита-

телей просвещенных, тому верят со всем простодушием читатели ограниченные, каких по количеству подписчиков можно предполагать более между читателями Библиотеки, и к тому же большая часть подписчиков были люди новые, дотоле не знавшие журналов, следственно принимавшие всё за чистую истину; что наконец Библиотека для чтения имела сильное для себя подкрепление в 4000 экземплярах Сев<ерной> пчелы.

Ропот на такую неслыханную монополию сделался силен. В Москве наконец несколько литераторов решились издавать какой-нибудь свой журнал. Новый журнал нужен был не для публики, т. е. для большего числа читателей, но собственно для литераторов, различно притесняемых Библиотекою. Он был нужен: 1) для тех, которые желали иметь уют для своих мнений, ибо Б<иблиотека> д<ля> ч<тения> не принимала никаких критических статей, если не были они по вкусу главного распорядителя; 2) для тех, которые видели с изумлением, как на их собственные сочинения наложена была рука распорядите-

ля, ибо г-н Сенковский начал уже переправлять, безо всякого разбора лиц, все статьи, отдаваемые в Библиотеку. Он переправлял статьи военные, исторические, литературные, относящиеся к политической экономии и проч., и всё это делал без всякого дурного намерения, даже без всякого отчета, не руководствуясь никаким чувством надобности или приличия. Он даже приделал свой конец к комедии Фонвизина, не рассмотревши, что она и без того была с концом.

Всё это было очень досадно для писателей, решительно не имевших места, куда бы могли подать жалобу свету и читателям.

Но уже один слух о новом журнале возбудил негодование Библиотеки для чтения и подвинул ее к неожиданному поступку: она уверяла своих читателей и подписчиков с необыкновенным жаром, что новый журнал будет бранчивый и неблагонамеренный. Статья, помещенная по этому же случаю в Северной пчеле, казалось, была писана человеком, в отчаянии предвидевшим свою конечную

погибель. В ней уведомяли публику, что новый журнал хотел уронить Библиотеку для чтения, потому только, что издатели оно объявили, что будут выпускать таковое же число листов, как и Б<иблиотека> д<ля> ч<тения>. Поступок чрезвычайно неосмотрительный! В подобном деле необходимо скрыть свои мелкие чувства искусно и потом, выждав удобный случай, нанести обдуманый удар. Если я издаю журнал, зачем же не издавать его и другому? И как могу гневаться, если другой скажет, что он будет брать меня в образец? Не должен ли я, напротив, его благодарить? Не показывает ли он тем степень уважения, мною заслуженного в публике? Чем больше соревнования, тем больше выигрыша для читателей и для литераторов.

Но рассмотрим, в какой степени Москов<ский> набл<юдатель> выполнил ожидания публики, жадной до новизны, ожидание читателей образованных, ожидание литераторов и опасение Библиотеки для чтения.

Новый журнал, несмотря на ревностное

старание привести себя во всеобщую известность, не имел средств огласить во все углы России о своем появлении, потому что единственные глашатаи вестей были его противники — Северная пчела и Библиотека для чтения, которые, конечно, не поместили бы благоприятных о нем объявлений. Он начался довольно поздно, не с новым годом, следовательно не в то время, когда обыкновенно начинаются подписки, наконец он пренебрег быстрым выходом книжек и срочною их поставкою. Но важнейшие причины неуспеха заключались в характере самого журнала. По первым вышедшим книжкам уже можно было видеть, что предположение журнала было следствием одного горячего мгновения. В Московском наблюдателе тоже не было видно никакой сильной пружины, которая управляла бы ходом всего журнала. Редактор его виден был только на заглавном листке. Имя его было почти неизвестно. Он написал доселе несколько сочинений статистических, имеющих много достоинства, но которых публика чисто литературная не знала вовсе. Литературные мнения его были неизвестны.

В этом состояла большая ошибка издателей Московского наблюдателя. Они позабыли, что редактор всегда должен быть видным лицом. На нем, на оригинальности его мнений, на живости его слога, на общепонятности и общезанимательности языка его, на постоянной свежей деятельности его, основывается весь кредит журнала. Но г-н Андросов явился в Московском наблюдателе вовсе незаметным лицом. Если желание издателей было постановить только почетного редактора, как вошло в обычай у нас на ленивой Руси, то в таком случае они должны были труды редакции разложить на себя; но они оставили всю ответственность на редакторе, и Московский наблюдатель стал похож на те ученые общества, где члены ничего не делают и даже не бывають в присутствии, между тем, как президент является каждый день, садится в свои кресла и велит записывать протокол своего уединенного заседания. В журнале было несколько очень хороших статей, его украсили стихи Языкова и Баратынского — эти перлы русской поэзии, но при всем том в журнале не было заметно никакой современной

живости, никакого хлопотливого движения; не было в нем разнообразия, необходимого для издания периодического. Замечательные статьи, поступавшие в этот журнал, были похожи на оазисы, зеленеющие посреди целого моря песчаных степей. Притом издатели, как кажется, мало имели сведения о том, что нравится и что не нравится публике. Статьи часто хорошие делались скучными, потому только, что они тянулись из одного номера в другой с несносною подписью: «продолжение впредь». Вот каков был журнал, долженствовавший бороться с Библиотекой для чтения.

Наблюдатель начался оппозиционною статьею г. Шевырева о торговле, зародившейся в нашей литературе. В ней автор нападает на торговлю в ученом мире, на всеобщее стремление составить себе доход из литературных занятий. Первая ошибка была здесь та, что автор статьи обратил внимание не на главный предмет. Во-вторых: он гремел против пишущих за деньги, но не разрушил никакого мнения в публике касательно внутренней ценности товара. Статья сия была понятна од-

ним литераторам, нанесла досаду Библиотеке для чтения, но ничего не дала знать публике, не понимавшей даже, в чем состояло дело. Притом сии нападения были несправедливы, потому что устремлялись на непреложный закон всякого действия. Литература должна была обратиться в торговлю, потому что читатели и потребность чтения увеличилась. Естественное дело, что при этом случае всегда больше выигрывают люди предприимчивые, без большого таланта, ибо во всякой торговле, где покупщики еще простоваты, выигрывают больше купцы оборотливые и пронырливые. Должно показать, в чем состоит обман, а не пересчитывать их барыши. Что литератор купил себе доходный дом или пару лошадей, это еще не беда; дурно то, что часть бедного народа купила худой товар и еще хвалится своею покупкою. Должно было обратить внимание г-ну Шевыреву на бедных покупателей, а не на продавцов. Продавцы обыкновенно бывают люди наездные: сегодня здесь, а завтра бог знает где. При этом случае сделан был несправедливый упрек книгопродавцу Смирдину, который вовсе не

виноват, который за предприимчивость и честную деятельность заслуживает одну только благодарность. Нет спора, что он дал, может быть, много воли людям, которым приличнее было заниматься просто торговлею, а не литературою. Талант не искателен, но корыстолюбие искательное. На это так же смешно жаловаться, как было бы странно жаловаться на правительство, встретивши недалёкого чиновника. Для таланта есть потомство, этот неподкупный ювелир, который оправляет одни чистые бриллианты. Г-н Шевырев показал в статье своей благородный порыв негодования на прозаическое, униженное направление литературы, но на большинство публики эта статья решительно не сделала никакого впечатления. Библиотека отвечала коротко в духе обыкновенной своей тактики: обратившись к зрителям, т. е. к подписчикам, она говорила: «Вот какое неблагородство духа показал г-н Шевырев, неприличие и неимение высоких чувств, упрекая нас в том, что мы трудимся для денег, тогда как» и проч... Это обыкновенная политика петербургских журналов и газет. Как только кто-

нибудь сделает им упрек в корыстолюбии и в бездействии, они всегда жалуются публике на неприличие выражений и неблагородство духа своих противников, говорят, что статья эта писана с целию только поддеть публику и забрать от читателей деньги, что они почитают с своей стороны священным долгом предупредить публику.

Итак, выходка Московского наблюдателя скользнула по Библиотеке для чтения, как пуля по толстой коже носорога, от которой даже не чихнуло тучное четвероногое. Выславши эту пулю, Московский наблюдатель замолчал, — доказательство, что он не начертал для себя обдуманного плана действий и что решительно не знал, как и с чего начать. Должно было или не начинать вовсе, или если начать, то уже не отставать. Только постоянным действием мог Наблюдатель дать себе ход и сделать имя свое известным публике, как сделал его известным Телеграф, действуя таким же образом и почти при таких же обстоятельствах. Наблюдатель выпустил вслед за тем несколько нумеров, но ни в одном из

них не сказал ничего в защиту и подкрепление своих мнений. Чрез несколько номеров показалась наконец статья, посвященная Брамбеусу, по поводу одной давно напечатанной в Библиотеке статьи, под именем: «Брамбеус и юная словесность», в которой Брамбеус назвал сам себя законодателем какой-то новой школы и вводителем новой эпохи в русской литературе.

Это в самом деле было чрезвычайно странно. Случалось, что литераторы иногда похваливали самих себя, или под именем друзей своих, или даже сами от себя, но всё же с некоторою застенчивостию, и после сами старались всё это как-нибудь загрести собственными руками, чувствуя, что несколько провинились. Но никогда еще автор не хвалил себя так свободно и непринужденно, как барон Брамбеус. Эта оригинальная статья слишком была ярка, чтобы не быть замеченною. Ею занялся и Телескоп и потрунил над нею довольно забавно, только вскользь; с обыкновенною сметливостию о ней намекнул и г-н Воейков; она возродила статью и в Московском наблю-

дателе. Цель этой статьи была доказать, откуда барон Брамбеус почерпнул талант свой и знаменитость? какими творениями чужих хозяев пользовался, как своим? другими словами: из каких лоскутов барон Брамбеус сшил себе халат? Несколько безгласных книжек, выходявших вслед за тем, совершенно погрузили М<осковского> наблюдателя в забвение. Даже самая Библиотека для чтения перестала наконец упоминать о нем, как о бессильном противнике; продолжала шутить над важным и неважным и говорить всё то, что первое попадалось под перо ее.

Вот каковы были действия наших журналов. Изложив их, рассмотрим теперь, что сделали они в эти два года такого, которое должно вписаться в историю нашей литературы, оставить в ней свою оригинальную черту; какие мнения, какие толки они утвердили, что определили и какой мысли дали право гражданства.

Длинная программа, сулящая статистику, медицину, литературу, ничего не значит. Из-

вещение о том, что критика будет благонамеренная, чуждая личностей и партий, тоже не показывает цели. Она должна быть необходимым условием всякого журнала. Даже множество помещенных в журнале статей ничего не значит, если журнал не имеет своего мнения и не оказывается в нем направление, хотя даже одностороннее, к какой-нибудь цели. Телеграф издавался, кажется, с тем, чтобы испровергнуть обветшалые, заматерелые, почти машинальные мысли тогдашних наших старожил, классиков; Московский вестник, один из лучших журналов, несмотря на то, что в нем немного было современного движения, издавался с тем, чтобы познакомить публику с замечательнейшими созданиями Европы, раздвинуть круг нашей литературы, доставить нам свежие идеи о писателях всех времен и народов. Здесь не место говорить, в какой степени оба сии журнала выполнили цель свою; по крайней мере стремление к ней было чувствуемо в них читателями. Но рассмотрите внимательно издававшиеся в последние два года журналы; уловите главную нить каждого из них: сей-то нити и не сыще-

те. Развернувши их, будете поражены мелко-
стью предметов, вызвавших толки их. Поду-
маете, что решительно ни одного важного со-
бытия не произошло в литературном мире. А
между тем:

1) Умер знаменитый шотландец, великий
дееписатель сердца, природы и жизни; пол-
нейший, обширнейший гений XIX века.

2) В литературе всей Европы распростра-
нился беспокойный, волнующийся вкус. Яв-
лялись опрометчивые, бессвязные, младенче-
ские творения, но часто восторженные, пла-
менные — следствие политических волнений
той страны, где рождались. Странная, мятеж-
ная, как комета, неорганизованная, как она,
эта литература волновала Европу, быстро об-
летела все углы читающего мира. Пусть эти
явления будут всемирно-европейские, хотя
они отражались и в России; рассмотрим лите-
ратурные события чисто русские:

3) Распространилось в большой степени
чтение романов, холодных, скучных пове-

стей, и оказалось очень явно всеобщее равнодушие к поэзии.

4) Вышли новыми изданиями Державин, Карамзин, гласно требовавшие своего определения и настоящей верной оценки так, как и все прочие старые писатели наши, ибо в литературном мире нет смерти, и мертвецы также вмешиваются в дела наши и действуют вместе с нами, как и живые. Они требовали возвращения того, что действительно им следует; они требовали уничтожения неправого обвинения, неправого определения, бессмысленно повторенного в продолжение нескольких лет и повторяемого донныне.

Но сказали ли журналы наши, руководимые строгим размышлением, что такое был Вальтер Скотт, в чем состояло влияние его, что такое французская современная литература, отчего, откуда она произошла, что было поводом неправильного уклонения вкуса и в чем состоял ее характер? Отчего поэзия заменилась прозаическими сочинениями? На какой степени образования стоит русская пуб-

лика и что такое русская публика? В чем состоит оригинальность и свойство наших писателей?

Напрасно в этом отношении читатель станет искать в них новых мыслей или каких-нибудь следов глубокого, добросовестного изучения. Вальтер Скотта у нас только поборнили. Французскую литературу одни приняла с детским энтузиазмом, утверждали, что модные писатели проникнули тайны сердца человеческого, дотоле сокровенные для Сервантеса, для Шекспира... другие безотчетно поносили ее, а между тем сами писали во вкусе той же школы еще с большими несообразностями. Вопросом: отчего у нас в большом ходу водяные романы и повести? вовсе не занялись, а вместо того вдобавок напустили и своих еще собственных. О нашей публике сказали только, что она почтенная публика и что должна подписываться на все журналы и разные издания, ибо их может читать и отец семейства, и купец, и воин, и литератор; о Державине, Карамзине и Крылове ничего не сказали или сказали то, что говорит уездный

учитель своему ученику, и отделились пошлыми фразами.

О чем же говорили наши журналисты? Они говорили о ближайших и любимейших предметах: они говорили о себе, они хвалили в своих журналах собственные свои сочинения; они решительно были заняты только собою; на всё другое они обращали какое-то холодное, бесстрастное внимание. Великое и замечательное было как будто невидимо. Их равнодушная критика обращена была на те предметы, которые почти не заслуживали внимания.

В чем же состоял главный характер этой критики? В ней очень явственно было заметно:

1) Пренебрежение к собственному мнению. Почти никогда не было заметно, чтобы критик считал свое дело важным и принимался за него с благоговением и предварительным размышлением, чтобы, водя пером своим, думал о небольшом числе возвышен-

но-образованных современников, перед которыми он должен дать ответ в каждом своем слове. Журнальная критика по большей части была каким-то газрством. Как хвалили книгу покровительствуемого автора? Не говорили просто, что такая-то книга хороша или достойна внимания в таком-то и таком-то отношении, совсем нет. «Это книга, — говорили рецензенты, — удивительная, необыкновенная, неслыханная, гениальная, первая на Руси, продается по пятнадцати рублей; автор выше Вальтер Скотта, Гумбольта, Гёте, Байрона. Возьмите, переплетите и поставьте в библиотеку вашу; также и второе издание купите и поставьте в библиотеку: хорошего не мешает иметь и по два экземпляра».

Большая часть книг была расхвалена без всякого разбора и совершенно безотчетно. Если счесть все те, которые попали в перво-классные, то иной подумает, что нет в мире богаче русской литературы, и только через несколько времени противоположные толки тех же самых рецензентов о тех же самых книгах заставят его задуматься и приведут в

недоумение. Та же самая неумеренность являлась в упреках сочинениям писателей, против которых рецензент питал ненависть или неблагорасположение. Так же безотчетно изливал он гнев свой, удовлетворяя минутному чувству.

2) Литературное безверие и литературное невежество. Эти два свойства особенно распространились в последнее время у нас в литературе. Нигде не встретишь, чтобы упоминались имена уже окончивших поприще писателей наших, которые глядят на нас в лучах славы с вышины своей. Ни один из критиков не поднял благоговейно глаз своих, чтобы их заметить. Никогда почти не стоят на журнальных страницах имена Державина, Ломоносова, Фонвизина, Богдановича, Батюшкова. Ничего о влиянии их, еще остающемся, еще заметном. Никогда они даже не брались в сравнение с нынешнею эпохой, так что наша эпоха кажется как будто отрублена от своего корня, как будто у нас вовсе нет начала, как будто история прошедшего для нас не существует. Это литературное невежество распро-

страняется особенно между молодыми рецензентами, так, что вообще современная критическая литература совершенно похожа на наносную. Не успеет пройти год-другой, как толки, вначале довольно громкие, уже безгласные, неслышные, как звук без отголоска, как фразы, сказанные на вчерашнем бале. Имена писателей, уже упрочивших свою славу, и писателей, еще требующих ее, сделались совершенною игрушкой. Один рецензент роняет тех, которых поднял его противник, и всё это делается без всякого разбора, без всякой идеи. Иное имя бывает обязано славою своею ссоре двух рецензентов. Не говоря о писателях отечественных, рецензент, о какой бы пустейшей книге ни говорил, непременно начнет Шекспиром, которого он вовсе не читал. Но о Шекспире пошло в моду говорить — итак, подавай нам Шекспира. Говорит он: «С сей точки начнем мы теперь разбирать открытую пред нами книгу. Посмотрим, как автор наш соответствовал Шекспиру», а между тем разбираемая книга чепуха, писанная вовсе без всяких притязаний на соперничество с Шекспиром, и сходствует разве только с духом и

образом выражений самого рецензента.

3) Отсутствие чистого эстетического наслаждения и вкуса. Еще в московских журналах видишь иногда какой-нибудь вкус, что-нибудь похожее на любовь к искусству; напротив того, критики журналов петербургских, особенно так называемые благопристойные, чрезвычайно ничтожны. Разбираемые сочинения превозносятся выше Байрона, Гёте и проч.! Но нигде не видит читатель, чтобы это было признаком чувства, признаком понимания, истекло из глубины признательной, расстроенной души. Слог их, несмотря на наружное, часто вычурное и блестящее убранство, дышит мертвящею холодностию. В нем видна живость или горячая замашка только тогда, когда рецензент задевает за живое и когда дело относится к его собственному достоинству. Справедливость требует упомянуть о критиках Шевырева, как об утешительном исключении. Он передает нам впечатления в том виде, как приняла их душа его. В статьях его везде заметен; мыслящий человек, иногда увлекающийся первым впечатлением.

4) Мелочное в мыслях и мелочное щегольство. Мы уже видели, что критика не занималась вопросом важным. Внимание рецензий было устремлено на целую шеренгу пустых книг и вовсе не с тем, чтобы разбирать их, но чтобы блеснуть любезностию, заставить читателя рассмеяться. До какой степени критика занялась пустяками и ничтожными спорами, читатели уже видели из знаменитого процесса о двух бедных местоимениях: сей и оный. Вот до чего дошла наконец русская критика!

Кто же были те, которые у нас говорили о литературе? В это время не сказал своих мнений ни Жуковский, ни Крылов, ни князь Вяземский, ни даже те, которые еще не так давно издавали журналы, имевшие свой голос и показавшие в статьях своих вкус и знание: нужно ли после этого удивляться такому состоянию нашей литературы?

Отчего же не говорили сии писатели, показавшие в творениях своих глубокое эстетиче-

ское чувство? Считали ли они для себя низким спуститься на журнальную сферу, где обыкновенно бойцы всякого рода заводят свой шумный бой? Мы не имеем права решить этого. Мы должны только заметить, что критика, основанная на глубоком вкусе и уме, критика высокого таланта имеет равное достоинство со всяким оригинальным творением: в ней виден разбираемый писатель, в ней виден еще более сам разбирающий. Критика, начертанная талантом, переживает эфемерность журнального существования. Для истории литературы она неоценима. Наша словесность молода. Корифеев ее было немного; но для критика мыслящего она представляет целое поле, работу на целые годы. Писатели наши отлились совершенно в особенную форму и, несмотря на общую черту нашей литературы, черту подражания, они заключают в себе чисто русские элементы: и подражание наше носит совершенно северообразный характер, представляет явление, замечательное даже для европейской литературы.

Но довольно. Заклучим искренним желанием, чтобы с текущим годом более показалось деятельности и при большем количестве журналов явилось бы более независимости от монополии, а через то более соревнования у всех соответствовать своей щели. По крайней мере заметно какое-то утешительное стремление уже и в том, что некоторые журналы с будущим годом обещают издаваться с большим противу прежнего рачением. Издатели Сына отечества, издатель Телескопа заговорили об улучшениях. Нельзя и сомневаться, чтобы при большем старании невозможно было сделать большего. По крайней мере, со всем чистосердечием и теплою молитвою излагаем желание наше: да наградятся старания всех и каждого сторицею, и чем бескорыстнее и добросовестнее будут труды его, тем более да будет он почтен заслуженным вниманием и благодарностию.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЗАПИСКИ 1836 ГОДА

I.

...**В** самом деле, куда забросило русскую столицу — на край света! Станный народ русский: была столица в Киеве — здесь слишком тепло, мало холоду; переехала русская столица в Москву — нет, и тут мало холода: подавай бог Петербург! Выкинет штуку русская столица, если подсоседится к ледяному полюсу. Я говорю это потому, что у ней слюна катится поглядеть вблизи на белых медведей. «На семьсот верст убежать от матушки! Экой востроногой какой!» — говорит московский народ, прищуривая глаз на чухонскую сторону. Зато какая дичь между матушкой и сынком! Что это за виды, что за природа! Воздух продернут туманом; на бледной, серо-зеленой земле обгорелые пни, сосны, ельник, кочки... Хорошо еще, что стрелою летящее шоссе да русские поющие и звенящие тройки духом пронесут мимо. А какая разница, какая разница между ими двумя!

Она еще до сих пор русская борода, а он уже аккуратный немец. Как раскинулась, как расширилась старая Москва! Какая она нечесанная! Как сдвинулся, как вытянулся в струнку щеголь Петербург! Перед ним со всех сторон зеркала: там Нева, там Финский залив. Ему есть куда поглядеться. Как только заметит он на себе перышко или пушок, ту ж минуту его щелчком. Москва — старая домоседка, печет блины, глядит издали и слушает рассказ, не подымаясь с кресел, о том, что делается в свете; Петербург — разбитной мальй, никогда не сидит дома, всегда одет и, охорашиваясь перед Европою, раскланивается с заморским людом.

Петербург весь шевелится, от погребов до чердака; с полночи начинает печь французские хлебы, которые назавтра все съест немецкий народ, и во всю ночь то один глаз его светится, то другой; Москва ночью вся спит, и на другой день, перекрестившись и поклонившись на все четыре стороны, выезжает с калачами на рынок. Москва женского рода, Петербург мужеского. В Москве всё

невесты, в Петербурге всё женихи. Петербург наблюдает большое приличие в своей одежде, не любит пестрых цветов и никаких резких и дерзких отступлений от моды; зато Москва требует, если уж пошло на моду, то чтобы во всей форме была мода: если талия длинна, то она пускает ее еще длиннее; если отвороты фрака велики, то у ней, как сарайные двери. Петербург — аккуратный человек, совершенный немец, на всё глядит с расчетом и прежде, нежели задумает дать вечеринку, посмотрит в карман; Москва — русский дворянин, и если уж веселится, то веселится до упаду и не заботится о том, что уже хватает больше того, сколько находится в кармане; она не любит середины. В Москве все журналы, как бы учены ни были, но всегда к концу книжки оканчиваются картинкою мод; петербургские редко прилагают картинки; если же приложат, то с непривычки взглянувший может перепугаться. Московские журналы говорят о Канте, Шеллинге и проч. и проч.; в петербургских журналах говорят только о публике и благонамеренности... В Москве журналы идут наряду с веком, но опаздывают

книжками; в Петербурге журналы нейдут наравне с веком, но выходят аккуратно, в положенное время. В Москве литераторы проживают, в Петербурге наживаются. Москва всегда едет, завернувшись в медвежью шубу, и большею частию на обед; Петербург в байковом сюртуке, заложив обе руки в карман, летит во всю прыть на биржу или «в должность». Москва гуляет до четырех часов ночи и на другой день не подымется с постели раньше второго часу; Петербург тоже гуляет до четырех часов, но на другой день, как ни в чем не бывал, в девять часов спешит в своем байковом сюртуке в присутствие. В Москву тащится Русь с деньгами в кармане и возвращается налегке; в Петербург едут люди безденежные и разъезжаются во все стороны света с изрядным капиталом. В Москву тащится Русь в зимних кибитках по зимним ухабам сбывать и закупать; в Петербург идет русский народ пешком летнею порою строить и работать. Москва — кладовая, она наваливает тюки да вьюки, на мелкого продавца и смотреть не хочет; Петербург весь расточился по кусочкам, разделился, разложился на лавочки и

магазины и ловит мелких покупателей. Москва говорит: «коли нужно покупщику, сыщет»; Петербург сует вывеску под самый нос, подкапывается под ваш пол с «Ренским погребом» и ставит извозчичью биржу в самые двери вашего дома. Москва не глядит на своих жителей, а шлет товары во всю Русь; Петербург продает галстухи и перчатки своим чиновникам. Москва — большой гостиный двор; Петербург — светлый магазин. Москва нужна для России; для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую пуговицу на фраке; в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит подтрунить над Москвою, над ее аляповатостью, неловкостью и безвкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажный и не умеет говорить по-русски. В Петербурге, на Невском проспекте, гуляют в два часа люди, как будто сошедшие с журнальных модных картинок, выставляемых в окна, даже старухи с такими узенькими талиями, что делается смешно; на гуляньях в Москве всегда попадется в самой середине модной толпы какая-нибудь матушка с платком на голове и

уже совершенно без всякой талии. Сказал бы еще кое-что, но —

Дистанция огромного размера!

II.

Трудно схватить общее выражение Петербурга. Есть что-то похожее на европейско-американскую колонию: так же мало коренной национальности и так же много иностранного смешения, еще не слившегося в плотную массу. Сколько в нем разных наций, столько и разных слоев обществ. Эти общества совершенно отделены: аристократы, служащие чиновники, ремесленники, англичане, немцы, купцы — все составляют совершенно отдельные круги, редко сливающиеся между собою, больше живущие, веселящиеся невидимо для других.

И каждый из этих классов, если присмотреться ближе, составлен из множества других маленьких кружков, тоже не слитых между собой. Например, возьмите чиновников: молоденькие помощники столоначальников составляют свой круг, в который ни за что не

опустится начальник отделения. Столоначальник с своей стороны подымает свою прическу несколько повыше в присутствии канцелярского чиновника. Немцы-мастеровые и немцы-служащие тоже составляют два отдельные круга. Учителя составляют свой круг, актеры свой круг; даже литератор, являющийся до сих пор двусмысленным и сомнительным лицом, стоит совершенно отдельно. Словом, как будто бы приехал в трактир огромный дилижанс, в котором каждый пассажир сидел во всю дорогу закрывшись и вошел в общую залу потому только, что не было другого места. Попытка на заведение публичных обществ доселе не имеет успеха. В клуб петербургский житель идет для того только, чтобы пообедать, а не провести время. Что Петербург не сделался до сих пор гостиницею, этому виною какая-то внутренняя стихия русского человека, до сих пор глядящая оригинальностью даже в вечной шлифовке с иностранцами. Чтобы говорить о каждом из этих кругов и заметить жизнь, текущую между них с ее веселостями, наслаждениями, надеждами, печальями, — нужно быть одним из тех,

которые вовсе ничего не пишут, потому что у этих господ в награду за их деятельность решительно нет времени. Итак, мимо балы и вечеринки; обращусь к тем увеселениям, после которых долее остается воспоминание и которые приемлются всеми классами. Театр, концерт — вот те пункты, где сталкиваются классы петербургских обществ и имеют время вдоволь насмотреться друг на друга. Балет и опера — царь и царица петербургского театра. Они явились блестящее, шумнее, восторженнее прежних годов, и упоенные зрители позабыли, что существует величая трагедия, вдыхающая невольно высокие, ощущения в согласные сердца сей безмолвно слушающей толпы, что есть комедия — верный список общества, движущегося пред нами, комедия, строго обдуманная, производящая глубиной своей иронии смех, не тот смех, который порождается легкими впечатлениями, беглою острою, каламбуром, не тот также смех, который движет грубою толпою общества, для которого нужны конвульсии и карикатурные гримасы природы, но тот электрический, живительный смех, который исторга-

ется невольно, свободно и неожиданно, прямо от души, пораженной ослепительным блеском ума, рождается из спокойного наслаждения и производится только высоким умом. Зрители правы, что были упоены балетом и оперой... На драматической сцене являлись мелодрама и водевиль, заезжие гости, которые были хозяевами во французском театре, а на русском играли чрезвычайно странную роль. Уже давно признано, что русские актеры несколько странны, когда представляют маркизов, виконтов и баронов, как, вероятно, были бы смешны французы, вздумав подделаться под русских мужиков; а сцены балов, вечеров и модных раутов, являющихся в русских пьесах — каковы они? А водевили?. Давно уже пролезли водевили на русскую сцену, тешат народ средней руки, благо смешлив. Кто бы мог думать, что водевиль будет не только переводный на русской сцене, но даже и оригинальный? Русский водевиль! право, немножко странно, странно потому, что эта легкая, бесцветная игрушка могла родиться только у французов, нации, не имеющей в характере своем глубокой, неподвиж-

ной физиономии; но когда русский, еще несколько суровый, тяжелый характер заставляют вертеться петиметром... мне так и представляется, что наш тучный и сметливый купец с широкою бородою, не знаяши на ноге своей ничего другого, кроме тяжелого сапога, надел вместо него узенький башмачок и чулки à jour, а другую ногу свою оставил просто в сапоге и стал таким образом в первую пару во французском кадриле.

Уже лет пять, как мелодрамы и водевили завладели театрами всего света. Какое обезьянство! Даже немцы — ну кто бы мог подумать, что немцы, этот основательный, этот склонный к глубокому эстетическому наслаждению народ, немцы теперь играют и пишут водевили, переделывают и клеят надутые и холодные мелодрамы! И пусть бы еще поветрие это занесено было могуществом мановения гения! Когда весь мир ладил под лиру Байрона, это не было смешно; в этом стремлении было даже что-то утешительное. Но Дюма, Дюканж и другие стали всемирными законодателями!. Клянусь, XIX век будет

стыдиться за эти пять лет. О, Мольер, великий Мольер! ты, который так обширно и в такой полноте развивал свои характеры, так глубоко следил все тени их; ты, строгий, осмотрительный Лессинг, и ты, благородный, пламенный Шиллер, в таком поэтическом свете выказавший достоинство человека! взгляните, что делается после вас на нашей сцене; посмотрите, какое странное чудовище под видом мелодрамы забралось между нас! Где же жизнь наша? где мы со всеми современными страстями и странностями? Хотя бы какое-нибудь отражение ее видели мы в нашей мелодраме! Но лжет самым бессовестным образом наша мелодрама...

Непостижимое явление: то, что вседневно окружает нас, что неразлучно с нами, что обыкновенно, то может замечать один только глубокий, великий, необыкновенный талант. Но то, что случается редко, что составляет исключения, что останавливает нас своим безобразием, нестройностью среди стройности, за то схватывается обеими руками посредственность. И вот жизнь глубокого таланта

течет во всем своем разливе, со всею стройностью, чистая как зеркало, отражая с одинаковою ясностию и темные и светлые облака: у посредственности она влечется мутною и грязною волною, не отражая ни ясного, ни темного.

Странное сделалось сюжетом нынешней драмы. Всё дело в том, чтобы рассказать какое-нибудь происшествие, непременно новое, непременно странное, дотоле неслыханное и невиданное: убийство, пожары, самые дикие страсти, которых нет и в помине в теперешних обществах! Как будто в наши европейские фраки переоделись сыны палящей Африки. Палачи, яды — эффект, вечный эффект, и ни одно лицо не возбуждает никакого участия! Никогда еще не выходил из театра зритель расстроенный, в слезах; напротив того, в каком-то тревожном состоянии торопливо сажился он в карету и долго не мог собрать и образить своих мыслей. И среди нашего утонченного, образованного общества такой род зрелища! Невольно передвигаются перед глазами те кровавые ристалища, на которые со-

бирался смотреть весь Рим в эпоху величайшего владычества своего и притупленного пресыщения. Но, слава богу, мы еще не римляне и не на закате существования, но только на заре его! Если собрать все мелодрамы, какие были даны в наше время, то можно подумать, что это кунсткамера, в которую нарочно собраны уродливости и ошибки природы или, лучше, календарь, в котором записаны с календарною холодностию все странные происшествия, где против каждого числа выставлено: сегодня было в таком-то месте такое-то мошенничество; сегодня отрубили головы таким-то разбойникам и зажигателям; такой-то ремесленник зарезал тогда-то жену свою... и тому подобное. Я воображаю, в каком странном недоумении будет потомок наш, вздумавший искать нашего общества в наших мелодрамах.

Не удивительно, что балет и опера утешительнее и служат отдохновением: в них наслаждение спокойно. Опера принимается у нас очень жадно. До сих пор не прошел тот энтузиазм, с каким бросился весь Петербург

на живую, яркую музыку «Фенеллы», на дикую, проникнутую адским наслаждением музыку «Роберта». «Семирамида», на которую за пять лет пред сим равнодушно глядела публика, «Семирамида» в нынешнее время, когда музыка Россини почти анахронизм, приводит в совершенный восторг ту же самую публику. Об энтузиазме, произведенном оперою «Жизнь за царя», и говорить нечего: он понятен и известен уже целой России. Об этой опере надобно говорить много или ничего не говорить.

А я не люблю говорить ни о музыке, ни о пении. Мне кажется, что все музыкальные трактаты и рецензии должны быть скучны для самих музыкантов: в музыке огромнейшая часть ее невыразима и безотчетна. Музыкальные страсти — не житейские страсти; музыка иногда только выражает или, лучше сказать, подделывается под голос наших страстей, для того чтобы, опершись на них, устремиться брызжущим и поющим фонтаном других страстей в другую сферу. Замечу только, что меломания более и более распростра-

няется. Люди такие, которых никто не подозревал в музыкальном образе мыслей, сидят неотлучно в «Жизни за царя», «Роберте», «Норме», «Фенелле» и «Семирамиде». Оперы даются почти два раза каждую неделю, выдерживают несчетное множество представлений, и все-таки иногда трудно достать билет. Уж не наша ли славянская певучая природа так действует? И не есть ли это возврат к нашей старине после путешествия по чужой земле европейского просвещения, где около нас говорили всё непонятным языком и мелькали всё незнакомые люди, возврат на русской тройке, с заливающимся колокольчиком, с которым мы, привстав на бегу и помахивая шляпой, говорим: «В гостях хорошо, а дома лучше!»

Какую оперу можно составить из наших национальных мотивов! Покажите мне народ, у которого бы больше было песен. Наша Украина звенит песнями. По Волге, от верховья до моря, на всей веренице влекущихся барок заливаются бурлацкие песни. Под песни рубятся из сосновых бревен избы по всей Ру-

си. Под песни мечутся из рук в руки кирпичи, и как грибы вырастают города. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Всё дорожное: дворянство и недворянство — летит под песни ямщиков. У Черного моря безбородый, смуглый, с смолистыми усами козак, заряжая пицаль свою, поет старинную песню; а там, на другом конце, верхом на плывущей льдине, русский промышленник бьет острой кита, затягивая песню. У нас ли не из чего составить своей оперы? Опера Глинки есть только прекрасное начало. Он счастливо умел слить в своем творении две славянские музыки; слышишь, где говорит русский и где поляк: у одного дышит раздольный мотив русской песни, у другого опрометчивый мотив польской мазурки.

Петербургские балеты блестят. Кстати о балетах вообще. Постановка балетов в Париже, Петербурге и Берлине ушла очень далеко; но надо заметить, что совершенствуется в них только богатство костюмов и богатство декораций; самая же сущность балета, изобретение его, нейдет в ряд с его постановкой; ба-

летные композиторы очень мало нового показывают в танцах. До сих пор мало характерности. Посмотрите, народные танцы являются в разных углах мира: испанец пляшет не так, как швейцарец, шотландец, как теньеровский немец, русский не так, как француз, как азиатец. Даже в провинциях, одного и того же государства изменяется танец. Северный русс не так пляшет, как малороссиянин, как славянин южный, как поляк, как финн: у одного танец говорящий — у другого бесчувственный; у одного бешеный, разгульный — у другого спокойный; у одного напряженный, тяжелый — у другого легкий, воздушный. Откуда родилось такое разнообразие танцев? Оно родилось из характера народа, его жизни и образа занятий. Народ, прошедший горделивую и бранную жизнь, выражает ту же гордость в своем танце; у народа беспечного и вольного та же безграничная воля и поэтическое самозабвение отражаются в танцах; народ климата пламенного оставил в своем национальном танце ту же негу, страсть и ревность. Руководствуясь тонкою разборчивостью, творец балета может брать из них

сколько хочет для определения характеров пляшущих своих героев. Само собою разумеется, что, схвативши в них первую стихию, он может развить ее и улететь несравненно выше своего оригинала, как музыкальный гений из простой, услышанной на улице песни создает целую поэму. По крайней мере, танцы будут иметь тогда более смысла, и таким образом может более образнообразиться этот легкий, воздушный и пламенный язык, доселе еще несколько стесненный и сжатый.

Петербург — большой охотник до театра. Если вы будете гулять по Невскому проспекту в свежее морозное утро, во время которого небо золотисто-розового цвета перемежается сквозными облаками поднимающегося из труб дыма, зайдите в это время в сени Александринского театра: вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждаёт грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку свою из окошка. Сколько толпится там лакеев всякого рода, начиная от того, который пришел в серой шинели и в шелковом цветном галстухе, но без

шапки, — до того, у которого трехэтажный воротник ливрейной шинели похож на пеструю суконную бабочку для вытирания перьев. Тут протираются и те чиновники, которым чистят сапоги кухарки и которым некого послать за билетом. Тут увидите, как прямо-русский герой, потеряв наконец терпение, доходит, к необыкновенному изумлению, по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. И что же дается на наших театрах? — какие-нибудь мелодрамы и водевили!. Сердит я на мелодрамы и водевили.

Положение русских актеров жалко. Перед ними трепещет и кипит свежее народонаселение, а им дают лица, которых они и в глаза не видали. Что им делать с этими странными героями, которые ни французы, ни немцы, но какие-то взбалмошные люди, не имеющие решительно никакой определенной страсти и резкой физиономии? где выказаться? на чем развиться таланту? Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших

плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем! Смех — великое дело: он не отнимает ни жизни, ни имения, но перед ним виновный, как связанный заяц... Мы так пригляделись к французским бесцветным пьесам, что нам уже боязливо видеть свое. Если нам представят какой-нибудь живой характер, то мы уже думаем: не личность ли это? потому что представляемое лицо совсем не похоже на какого-нибудь пейзажа, театрального тирана, рифмоплета, судью и тому подобные обношенные лица, которых таскают беззубые авторы в свои пьесы, как таскают на сцену вечных фигурантов, отплясывающих пред зрителями с тою же улыбкою свое лихо вытверженное в продолжение сорока лет па. Если, например, сказать, что в одном городе один надворный советник нетрезвого поведения, то все надворные советники обидятся, а иной, совершенно другой советник даже скажет: «Как же это? у меня есть родственник надворный советник, прекрасный человек! как же можно сказать, что есть надворный советник нетрезвого поведения!» Как будто один может порочить всё сословие! И такая раздра-

жительность у нас решительно распространена на все классы. Нужны ли примеры? Вспомните «Ревизора»...

Досадно. Право, пора знать уже, что одно только верное изображение характеров не в общих вытверженных чертах, но в их национально вылившейся форме, поражающей нас живостью, так что мы говорим: «Да это, кажется, знакомый человек», — только такое изображение приносит существенную пользу. Из театра мы сделали игрушку в роде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где, при торжественном блеске освещения, при громе музыки, при единодушном смехе, показывается знакомый, прячущийся порок и, при тайном голосе всеобщего участия, выставляется знакомое, робко скрывающееся возвышенное чувство...

Но довольно о театре. Я заговорился о нем. Его зимний карнавал замыкает шумная неделя Петербурга, когда он одною половиною

своего народонаселения летает на качелях, мчится как вихорь с ледяных гор, а другою превращается в длинную цепь карет и едва движется, равняемый жандармами; когда спектакли даются и днем и вечером, и вся Адмиралтейская площадь засеяна скорлупами орехов...

Спокоен и грозен великий пост. Кажется, слышен голос: «Стой, христианин; оглянись на жизнь свою». На улицах пусто. Карет нет. В лице прохожего видно размышление. Я люблю тебя, время думы и молитвы! Свободнее, обдуманнее потекут мои мысли. Весь пустой и ничтожный народ, верно, пролежит заспанный и утомленный и позабудет зайти потревожить меня пошлым разговором о висте, о литературе, о наградах, о театре.

Пост в Петербурге есть праздник музыкантов. В это время они съезжаются из разных сторон Европы. Огромный концерт в пользу инвалидов всегда бывает величествен: четыреста музыкантов! это что-то могущественное. Когда согласный ропот четырехсот зву-

ков раздаётся под дрожащими сводами, тогда, мне кажется, самая мелкая душа слушателя должна вздрогнуть необыкновенным содроганием.

В продолжение поста в петербургскую атмосферу заглядывает солнце. Западная сторона с моря делается яснее. Север глядит с меньшею суровостью из своей Выборгской стороны. Экипажи чаще останавливаются на улице и высаживают на тротуар гуляющих. С 1836 года Невский проспект, этот шумный, вечно шевелящийся, хлопотливый и толкающий Невский проспект упал совершенно: гулянье перенесено на Английскую набережную. Покойный император любил Английскую набережную. Она точно прекрасна. Но тогда, только, когда начались гулянья, заметил я, что она немного коротка. Но гуляющие всё в выигрыше, потому что половину Невского проспекта всегда почти занимал народ мастеровой и должностной, и оттого на нем можно было получить толчков целою третью больше, нежели где-либо в другом месте...

— К чему так быстро летит ничем незамеченное наше время? Кто его кличет к себе? Великий пост, какой спокойный, какой уединенный его отрывок! Чего нельзя сделать в эти семь недель? Теперь, наконец, займусь я основательно трудом своим. Теперь совершу я, наконец, то, чего не дали совершить мне шум и всеобщее волнение; но вот уже на исходе первая неделя; не успел начать я, уже летит за нею вторая, уже середина третьей, уже четвертая, уже ярмарка в гостином дворе, и целая галерея верб с восковыми фруктами и цветами зацвела под темными его арками. Когда я проходил мимо этой пестрой аллеи, под тенью которой были навалены топорные детские игрушки, мне сделалось досадно. Я сердился и на краснощеких нянек, шатавшихся толпами, и на детей, радостно останавливавшихся перед кучами приятного для них сора, и на черномазого, приземистого и усатого грека, титуловавшего себя молдаванским кондитером, с его сомнительными и неопределенными вареньями. Лежавшие на столиках сапожные щетки, оловянные обезьянки, ножи и вилки, пряники, маленькие зеркаль-

ца мне казались противны. Народ всё так же пестрится, теснится; те же чувства выражаются на лице его; с тем же любопытством глядит он, с каким глядел и год тому назад, два, и три, и несколько лет; — а я и каждый человек из этого народа уже не тот: уже другие в нем чувства, нежели были за год пред сим; уже суворее мысли его; менее улыбается на устах душа его, и что-нибудь да отпадает с каждым днем от прежней его живости.

Нева вскрылась рано. Льды, не тревоженные ветрами, успели истаять почти до вскрытия, неслись уже рыхлые и разваливались сами собою. Ладожское озеро выслало и свои почти в одно время. Столица вдруг изменилась. И шпиг Петропавловской колокольни, и крепость, и Васильевский остров, и Выборгская сторона, и Английская набережная — всё получило картинный вид. Дымясь влетел первый пароход. Первые лодки с чиновниками, солдатами, старухами-няньками, английскими конторщиками понеслись с Васильевского и на Васильевский. Давно не помню я такой тихой и светлой погоды. Когда вошел

я на Адмиралтейский бульвар, — это было накануне светлого воскресения вечером, — когда Адмиралтейским бульваром достиг я пристани, перед которою блестят две яшмовые вазы, когда открылась перед мною Нева, когда розовый цвет неба дымился с Выборгской стороны голубым туманом, строения стороны Петербургской оделись почти лиловым цветом, скрывшим их неказистую наружность, когда церкви, у которых туман одноцветным покровом своим скрыл все выпуклости, казались нарисованными или наклеенными на розовой материи, и в этой лилово-голубой мгле блеснул один только шпиг Петропавловской колокольни, отражаясь в бесконечном зеркале Невы, — мне казалось, будто я был не в Петербурге. Мне казалось, будто я переехал в какой-нибудь другой город, где уже я бывал, где всё знаю и где то, чего нет в Петербурге... Вон и знакомый гребец, с которым я не видался более полугода, болтается с своим яликом у берега, и знакомые раздаются речи, и вода, и лето, которых не было в Петербурге.

Сильно люблю весну. Даже здесь, на этом

диком севере, она моя. Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность; с ней мое прошедшее более чем воспоминание: оно перед моими глазами и готово брызнуть слезою из моих глаз. Я так был упоен ясными, светлыми днями Христова воскресенья, что не замечал вовсе огромной ярмарки на Адмиралтейской площади. Видел только издали, как качели уносили на воздух какого-то молодца, сидевшего об руку с какой-то дамой в щегольской шляпке; мелькнула в глаза вывеска на угóльном балагане, на котором нарисован был пребольшой рыжий чорт с топором в руке. Больше я ничего не видел.

Светлым воскресеньем, кажется, как будто оканчивается столица. Кажется, что всё, что ни видим на улице, укладывается в дорогу. Спектакли, балы после светлого воскресенья — больше ничего, как оставшиеся хвосты от тех, которые были перед великим постом, или, лучше сказать, гости, которые расходятся позже других и проговаривают у камина еще несколько слов, прикрывая одною рукою

зеваящий рот свой. Город весь высушился, тротуары сухи. Петербургские джентльмены в одних сюртучках с разными палками; вместо громоздкой кареты, несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны. Книги читаются ленивее. Уже в окна магазинов, вместо шерстяных чулков, глядят кое-где летние фуражки и хлыстики. Словом, Петербург во весь апрель месяц кажется на подлете. Весело презреть сидячую жизнь и постоянно помышлять о дальней дороге под другие небеса, в южные зеленые рощи, в страны нового и свежего воздуха. Весело тому, у кого в конце Петербургской улицы рисуются подоблачные горы Кавказа или озера Швейцарии, или увенчанная анемоном и лавром Италия, или прекрасная и в пустынности своей Греция... Но стой, мысль моя: еще с обеих сторон около меня громоздятся петербургские дома...

РЕЦЕНЗИИ ИЗ «СОВРЕМЕННОСТИ»

**Исторические афоризмы Михаила
Погодина. Москва, Универс. тип.
1836 (8), VIII и 128 стр**

Г-н Погодин во многих отношениях есть лицо примечательное в нашей литературе. Он уединенно стоит среди писателей наших, не привлекая благорасположения большинства. Но из всех, посвятивших себя истории, он более всего останавливает на себе внимание. Он первый у нас сказал, что «история должна из всего рода человеческого сотворить одну единицу, одного человека, и представить биографию этого человека чрез все степени его возраста»; что «многочисленные народы, жившие и действовавшие в продолжение тысячелетий, доставят в такую биографию, может быть, по одной черте. Черту сию узнают великие историки». Он первый говорил о великих писателях, указавших в творениях своих на истинное значение исто-

рии. Он переводил из них отрывки для своего журнала; наконец он многих из них перевел вполне, почти не заботясь о том, что важность их еще мало у нас чувствовали. Вот реестр изданных им сочинений:

Исследование о Кирилле и Мефодии, Иосифа Добровского

О жилищах древних руссов, собственное сочинение.

Критические исследования Эверса.

Начертание древней географии, сочств. соч.

Лекции по Герену.

Начертание всеобщей истории, Бетигера.

Введение в историю для детей, А. Шлецера.

Русская история для училищ.

Карты Европы, Риттера.

Гец Фон Берлихинген, соч. Гёте.

Марфа Посадница, драма.

Димитрий Самозванец, история в лицах.

Славянская грамматика, Добровского, переведенная вместе с г. Шевыревым.

Кроме того, издавал он:

Московский вестник за 1827, 1828, 1829 и 1830 год.

Уранию, альманах на 1826.

В его исторических критиках видно много ума, обдуманная умеренность, иногда юношеский порыв вслед за собственной мыслию.

Изданная ныне книжка заключает отдельные мысли и замечания, записанные им в разное время. Эти мысли помещены без всякого порядка; выражены не всегда ясно. Но в них ощутительно стремление к общим идеям. Границы, им начертанные для истории, обширны. Он заключает ее не в одних явлениях политических; он видит ее в торговле, в литературе, в религии, в художественном развитии, во всех многообразных явлениях, в каких оказывается человечество. Вот его мысли об истории вообще:

«Каждый человек действует для себя, по своему плану, а выходит общее действие, исполняется другой высший план, и из суровых, тонких, гнилых нитей биографических сплетается каменная ткань истории».

«История для нас есть еще поэма на иностранном языке, которого мы не понимаем, и только чаем значение некоторых слов, много-много эпизодов. А сколько мест искажен-

ных в нашей рукописи от невежества, ограниченности переписчиков! Историю надо восстанавливать (*restaurare*), как статую, найденную в развалинах Афин, как текст *Виргилиев* в монастырском списке».

«Представьте себе (я требую возможного только в воображении), что человек, не имеющий понятия о музыке, но одаренный от природы всеми способностями, чтоб чувствовать и понимать ее, получает партитуру какой-нибудь огромной оратории и все музыкальные инструменты, на коих она может быть разыграна, с голым известием, что условными знаками, им видимыми (нотами), означаются разные звуки, производимые на данных инструментах. Он хочет по сим двум данным представить себе исполнение (*exécution*) сего великого музыкального произведения. Ему должно, во-первых, испытать все инструменты и узнать все их возможные звуки, переметить их и привести в порядок свои новые ноты, отыскать посредством соображений, опытов, отношение своих нот к данным (как бы посредством фальшивого арифметического правила), узнать таким об-

разом, какой звук и на каком инструменте тою или другою данною нотою изображается, разыграть партитуру по частям и проч. и проч. Сколько усилий ума потребно, чтоб попасть на сии средства, сколько потребно труда, чтоб воспользоваться сими средствами! Целые поколения прейдут, пока наконец внуку внуков удастся достигнуть отдаленной цели прародителя и насладиться божественною гармониею».

«Труднейшая задача задается историку: он сам должен ловить все звуки (летописи, Несторы, Григории Турские), отличить фальшивые от верных (историческая критика, — Шлецеры, Круги), незначительные от важных, сложить в одну кучу (истории, собрания деяний, — Роллени), разобрать сии кучи по родам истории (частные истории религии, торговли, — Герены), провидеть, что в сей куче и кучах должна быть система, какой-нибудь порядок, гармония (Шлецеры, Гердеры, Шиллеры), доказать это положительно a priori (Шеллинги), делать опыты, как найти сию систему (Асты, Штуцманы), наконец найти ее и прочесть историю так, как глухой Бет-

ховен читал партитуры».

В империи Византийской г-н Погодин видит продолжение истории древней Греции. Гений Платона, Аристотеля воскресает в Иоанне Златоусте и Григории Назианзине.

Францию он полагает родником всего общественного, гражданского и политического, земель, где совершается вечный опыт. Подведенные в подтверждение события доказывают большую наблюдательность. У франков, говорит он, прежде всего была принята христианская католическая религия и раньше сделалась государственною; у франков прежде началась и развилась феодальная система; коронованный франк Карл Великий первый возвысил папу; отозвавши папу в Авинион, Франция была отчасти виною его падения; во Франции были первые попытки противу папской власти (альбийцы); рыцарство развилось блистательнее во Франции; крестовый поход был подвинут французом, Амиенским пустынником; разрушенный феодализм прежде всего организовался в самодержавие во Франции; постоянные войска начались во Франции; постоянные налоги и ко-

ролевский суд во Франции; идея о равновесии истекла из войн италийанских, порожденных Францией; учреждение посольств, политические журналы, кофейные дома, энциклопедия, язык, мода, карты — всё родилось во Франции. Общественное мнение нигде так не сильно, как во Франции; Франция остановила революции своим ужасным примером; виною нынешнего тесного соединения европейских держав между собою есть Франция и ее Наполеон.

Многие афоризмы суть только сближения сходных и противоположных происшествий, совершившихся в разных углах мира или на одной и той же земле; сближение отдаленной, почти сокровенной причины с ее колоссальными следствиями, отозвавшимися чрез несколько веков, всегда разительно. Другие афоризмы суть только вопросы на вопросы. Везде видишь человека, обладаемого величием своего предмета. Это благоговейное изумление дышит на каждой странице. Иногда, пораженный бесконечностью науки, он как будто чувствует бессилие духа и восклицает: «Как же мудрено распознать, отчего что про-

исходит, что к чему клонится! Как переплетаются причины и следствия! Повторяю вопрос: можно ли представить историю? Где форма для нее? Историю вполне можно только чувствовать».

Читатель обыкновенный небрежно и рассеянно взглянет на эту книгу и, отыскав две-три незначительные мысли, дурно выраженные, может быть, посмеется над нею с детским легкомыслием; но читатель, в душе которого горит пламень любви к науке, а мысль постигает глубокое значение ее, прочтет эти страницы с соучастием, проникнется благодарностию за оживленные в душе его размышления и скажет: этот человек видел и чувствовал в истории то, что не всякому дано видеть и чувствовать.

**Плавание по Белому морю и
Соловецкий монастырь, сочинение
Я. Озерецковского. С.-П.-бург, 1836, в
тип. Н. Греча, в 12 д. л., 54 стр**

Несколько занимательных замечаний о северной природе. Желательно было бы слышать более о сем угрюмом и знаменитом в наших летописях монастыре, где древле томилась в заточении наши опальные патриархи и святители.

**Походные записки артиллериста,
с 1812 по 1816 год, артиллерии
подполковника И. Р... Москва,
1835—1836 г., в 8 д. Четыре части. Стр.
296—348—354—375**

Когда возвратились наши войска из славного путешествия в Париж, каждый офицер принес запас воспоминаний. Их рассказы все без исключения были занимательны; всё наблюдаемо было свежими и любопытными чувствами новичка; даже постой русского офицера на немецкой квартире составлял

уже роман. Доныне, если бывший в Париже офицер, уже ветеран, уже во фраке, уже с проседью на голове, станет рассказывать о прошедших походах, то около него собирается любопытный кружок. Но ни один из наших офицеров до сих пор не вздумал записать свои рассказы в той истине и простоте, в какой они изливаются изустно. То, что случилось с ними, как с людьми частными, почитают они слишком неважным, и очень ошибаются. Их простые рассказы иногда вносят такую черту в историю, какой нигде не дороешься. Возьмите, например, эту книгу: она не отличается блестящим слогом и замашками опытного писателя; но всё в ней живо и везде слышен очевидец. Ее прочтут и те, которые читают только для развлечения, и те, которые из книг извлекают новое богатство для ума.

**Письма леди Рондо, супруги
английского министра при
российском дворе в царствование
императрицы Анны Ивановны.
Перевел с английского М. К. С.-П.-
бург, в тип. III отделения
собственной е. и. в. канцелярии,
1836, в 8, стр. 128**

Книжка замечательная. Леди Рондо пишет к приятельнице своей о себе, о своих чувствах, о том, что занимательно для нее одной, но мимоходом задевает и историю. Несколько беглых слов о Петре II, об императрице Анне Ивановне, о Бироне прибавляют новые черты к их портретам.

Путешествие вокруг света, составленное из путешествий и открытий Магеллана, Тасмана, Дампиера, Ансона, Байрона, Валлиса, Картере, Бугенвилля, Кука, Лаперуза, Блейга, Ванкувера, Дантркасто, Вильсона, Бодена, Флиндерса, Крузенштерна, Головнина, Портера, Коцебу, Фрейсине, Беллинггаузена, Галля, Дюперре, Польдинга, Бичи, Дюмон-Дюрвиля,

Литке, Диллона, Лапласа, Мореля и пр., изда-
но под руководством Дюмон-Дюрвиля, капи-
тана Французского королевского флота, с кар-
тами и многочисленным собранием изобра-
жений, Гравированных на меди, с рисунков
известного г. Сенсона, рисовальщика, совер-
шившего путешествие с Дюмон-Дюрвилем.
Издание А. Плюшара. Часть первая, С.-П.-бург.
1836, в тип. А. Плюшара, в 4.

Есть книги, пишущиеся для того общества,
которое нужно как детей заохочивать и при-
нуждать к чтению. В этом случае бескорыст-
нее действовали англичане, которые, при
всей народной гордости, отличаются своею
филантропией, составляют общества для рас-
пространения нравственности, воздержания
и проч., издают и распускают по свету безде-
нежно, или по чрезвычайно низкой цене,
множество полезных книг для народа. Что
изобретет англичанин, то углубит, расширит
и разнесет по всему свету француз. Едва по-
явилось во Франции одно дешевое издание,
как уже на другой год нахлынул потоп деше-
вых изданий. Еще не успеет Европа получить
одно, как является другое. К числу множества

таких изданий принадлежит и вышеозначенное. Оно замечательнее других потому, что полезнее. Это свод всех путешествий, изображение всего мира в его нынешнем географическом, статистическом и физическом состоянии, словом, книга, более всего находящая себе читателей, потому что путешествие и рассказы путешествий более всего действуют на развивающийся ум. Сведения, принесенные новейшими путешественниками, в этой книге вложены в уста одного. Быть может, слишком взыскательному читателю станет досадно при мысли, что всё это рассказывает ему человек не существующий: свежесть впечатлений, сохраняемых очевидцем, ничем незаменима. Язык перевода ясен и жив. Картинки очень хороши. В месяц выходит довольно большая тетрадь в 4, печатанная в два столбца. В Москве это же самое сочинение начал переводить г. Полевой. Он выдал уже один том; если выйдут остальные пять, то и его издание будет дешевое.

**Атлас к космографии, изд.
Ободовским, СПб. 1836, в 2. XVI
чертежей**

Атлас этот принадлежит к вышедшей за два года пред сим космографии г. Ободовского.

**Мое новоселье. Альманах на 1836
год, В. Крыловского. СПб., в тип.
издателя, 206 стр**

Это альманах! Какое странное чувство находит, когда глядим на него: кажется, как будто на крыше опустелого дома, где когда-то было весело и шумно, видим перед собою того же мяукающего кота. Альманах! Когда-то Дельвиг издавал благоуханный свой альманах! В нем цвели имена Жуковского, князя Вяземского, Баратынского, Языкова, Плетнева, Туманского, Козлова. Теперь всё новое, никого не узнаешь: другие люди, другие лица. В оглавлении, приложенном к началу, стоят имена гг. Куруты, Варгасова, Крыловского, Грена; кроме того, написали еще стихи буква

С., буква Ш., буква Щ. Читаем стихи — подобные стихи бывали и в прежнее время; по крайней мере в них всё было ровнее, текучее, сочинители лепетали вслед за талантами. Грустно по старым временам!..

Сорок одна повесть лучших иностранных писателей (Бальзака, Бальоль, Блюменбаха, доктора Гаррисона, Е. Гино, Гофмана, А. Дюма, Ж. Жанена, Ваш. Ирвинга, Кинда, Крузе, И. Люка, Сентина, Тика, Цшоке, Ф. Шаля и других); изданы Николаем Надеждиным. Москва, в типогр. Степанова, 1836, в 12, двенадцать частей, стр. 287—261—259—287—275—276—262—263—227—246—251—236.

Повести, печатанные в разных номерах Телескопа. Издатель, выбрав их оттуда, выпустил отдельными книжками и хорошо сделал. Здесь им лучше, нежели там. Собранные вместе, они представляют действительно что-то разнообразное. Их развезут по первой зимней дороге русские разносчики во все отдаленные города и деревни; они приятно займут в долгие вечера и ночи наших уездных барышень, по крайней мере приятнее, нежели наши самодельные романы.

РЕЦЕНЗИИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В «СОВРЕМЕННОСТЬ»

**<Летописи русской славы со времен
воцарения на русском престоле
благословенного Дома Романовых.
С.-П.-бург 1836, в тип. Хр. Гинце, в 16,
87 стр. с портретами.>**

Памятная книжка в роде календаря, в кото-
ром под каждым числом каждого месяца
ознаменование случившихся в тот день сра-
жений и все подвиги нашего победоносного
войска. При ней находятся портреты импера-
торов и великих генералов.

<Детский Карамзин, или Русская история в картинах, издаваемая Андреем Прево, комиссионером Общества поощрения художеств, выходит тетрадями. С.-П.-бург, в тип. Гинце, 1836, в 8 д. л.>

Издается периодически, в месяц до двух тетрадей. Литография незавидная, но для детей годится.

<* Русские классики. Часть 1. Кантемир. 1836. СПб., в тип. Гинце. Выходит небольшими тетрадями.>

Намерение очень хорошее — издать Кантемира и других старых писателей наших. Но издается это очень странно: в месяц выходит один или два печатных листа. За эти два листа и за обертку к ним, в которой читателю решительно нет никакой надобности, читатель платит рубль. Довольно дорого и неудобно. Дорого потому, что небольшой томик Кантемира будет стоить гораздо дороже десяти рублей. Неудобно потому, что у нас не

привыкли к такому мелкому расчету, и всякой будет ожидать лучше всей книги, чтобы куп<ить>. На тетрадки обыкновенно разлагаются в Европе огромные издания, для того чтобы облегчить взнос денег для читателей, которые NB все почти люди бедные. Притом ливрезоны, выпускаемые французами, никогда не издаются по одному листу, но за 1 рубль они представят такое количество букв, какого не составит весь Кантемир. Плюшар издает «Путешествие вокруг света» Дюмон Дюрвиля. В месяц выходит тетрадь из 10 печатных листов довольно густой печати; при них множество картинок и вся тетрадь обходится по два рубли. Это можно назвать у нас дешевым.

Притом издатели очень делят это издание. Кантемир, которого можно отпечатать всего в две недели, будет печатать<ся> полгода; кому охота каждый месяц <ждать> одного печатного листа?

<* История поэзии. Чтения адъюнкта Московского университета Степана Шевырева. Том первый, содержащий в себе Историю поэзии индейцев и евреев, с приложением двух вступительных чтений о характере образования и поэзии главных народов новой Западной Европы. Москва, в тип. Семена, 1835 в 8, стр. III — 333.>

Замечательное явление в нашей литературе. В первый раз является наш русский оригинальный курс Истории всемирной поэзии. Курс, написанный мыслящим, исполненным критического ума писателем. Из всех доселе писателей наших, преимущественно занимавшихся критикою, бесспорно Шевырев первый, которого имя останется в летописях нашей литературы. В следующем томе поместим обстоятельный разбор этого важного сочинения.

**<Он и она. Роман. Москва, в тип.
Селивановского. 1836, в 12, 4 части,
169—170—182—163 стр.>**

Романы в нашей литературе завелись теперь трех родов: романы пятнадцатирублевые, всегда почти толс<тые>, длинные, солидные, в 4 частях по 300 страниц в каждой, другие романы средней руки, романы восьми- и шестирублевые, тоже иногда в четырех частях, но бывают и в двух. В этих частях бывает уже только по 160 страниц, а иногда и меньше. Этого сорта дешевые романы пишутся обыкновенно людьми молодыми; в них много романтического, не бывает недостатка в восклицаниях, и чрезвычайно много точек. Наконец следуют романы пяти- и четырехрублевые; эти состоят большею частью из трех частей, иногда из двух, но эти части уже никак не бывают больше 60 или 90 страниц, а иногда иная часть удается так странно, что в ней всей всего-навсего бывает страниц 36. Пишут большею частью люди пожилые, вовсе не должностные. Это русские самородки, и

предводитель сего последнего инвалидного войска есть А. А. Орлов, на<д> которым очень любят подшучивать петербургские журналисты.

Разбираемый роман принадлежит к первому роду, то есть к романам пятнадцатирублевым, хотя автор, как видно из первых страниц, часто бывает очень нетерпелив и никак не посидит на месте и не займется долго одним лицом. Ничего не осталось в голове после прочтения половины первой части. Помнится только, что какой-то граф и какой-то студент таскаются по улицам в каком-то городе, чуть ли не в Москве, берут Катю и увозят, потом опять берут Катю и, кажется, опять увозят. Впрочем, кто охотник, тот может прочесть сам и узнать, что делается дальше...

<Недовольные. Комедия в четырех действиях, сочинение М. Н. Загоскина. Москва, в тип. Степанова, 1836, в 8, 147 стр.>

План задуман довольно слабо. Действия нет повсе. [Стало быть, условия сценические не выполнены]. Стихи местами хороши, везде почти непринужденны, но комического, [а это-то главное], почти нет. Лица не взяты с природы.

<Путешествие к святым местам, совершенное в XVII столетии Иеродиаконом Троицкой Лавры. Издано М. Коркуновым. Москва, в Универ. тип., 1836, в 8, стр. 39.>

Путешествия в Иерусалим производят действие магическое в нашем народе. Это одна из тех книг, кот<орые> больше всего и благоговейнее всего читаются. Почти такое производит на них впечатление <путешествие> в Цареград, как будто невольная признательная черта, сохранившаяся в русском племени,

за тот свет, который некогда истекал оттуда. Нередко русской мецанин промышленник сколько-нибудь ученый, бросив дела, отпра-влял<ся> сам в Иерусалим и Цареград и даже издавал книгу, которую жадно покупали у разносчиков, пропуская множество картин, висящих на шнурочке у него на плечах, несмотря на то, что многие из них разрисова-ны всякими красками. Прочие книги русский народ читает для <того> только, чтобы прочи-тать что-нибудь в случае показать себе и дру-гим, что он может прочесть по верхам то, что другой читает по складам — без малейшего внимания к содержанию книги. И потому для народа нашего чрезвычайно трудно выбрать чтения.

<Описание Прусского государства в географическом и статистическом отношении, составленное Ардалионом Ивановым, воспитателем и наставником Императорского училища Правоведения. СПб., в тип. И. Глазунова, 1836, в 8. Часть первая, стр. 201.>

Книга в роде тех географий, каких расходуется по Руси много и по которым учат у нас детей. Кто захочет иметь полное статистическое удовлетворительное понятие о Пруссии, тот его не отыщет в этой книге. Она что-то среднее: как книга для ученика она велика, для выучившегося пахнет указкою.

<Указатель губернских и уездных почтовых дорог в Российской Империи, составленный по новейшему учреждению почтовых дорог и станций г. Савинковым, с приложением дорожной карты. СПб., 1836, в б. осьмушку, 36 гравир. страниц.>

Книжка издана довольно укладисто для дороги, хотя бы можно издать еще укладистее. Карту не нужно особенно и в большом виде, в дороге нечего разворачивать, лучше придумать как-нибудь поместить ее в страницах самой книги хотя по частям, а еще лучше соединить [описание с топографией].

(Основание Москвы, или смерть боярина Степана Ивановича Кучки. Исторический роман, взятый из времен княжения Изяслава Мстиславовича. Сочинение И... К...ва. Спб., в тип. Вингебера, 1836. Четыре части, стр. VII и 189—194—168—162.)

Один из тех романов, в роде которых выходит очень много и особенно в Москве. Сюжет их обыкновенно взят из отечественной истории. Они обыкновенно бывают худенькие, тоненькие, но разделены на четыре части, продаются очень дешево. Авторы их — часто робкие, молодые, еще не обжегшиеся на огне писатели и поэты поэтому выставляют часто одни только заглавные литеры своего имени и окончивают его точками. Автор обыкновенно заставляет говорить своих героев слогом русских мужичков и купцов, потому что у нас в продолжение десяти последних <лет> со времени появления романов в русском кафтане возникла мысль, что наши исторические лица и вообще все герои прошедшего должны

непременно говорить языком нынешнего простого народа и отпускать как можно побольше пословиц. В последние года два или три новая французская школа, выразив<шаяся> у нас во многих переводных отрывка<х> и мелодрамах на театре, прояви<ла> заметное свое влияние даже и на них. От этого произошло чрезвычайно много самых странных явлений в наших романах. Иногда русской мужичок отпустит такую театральную штуку, что и римлянин не сделает. Подыметя с полатей или с своей печки и выступит таким шагом, как Наполеон; какой-нибудь Василий, Улита или Степан Иванович Кучка после какой-нибудь русской замашки, отпустивши народную поговорку, зарычит вдруг «смерть и ад!» В другом месте читатель приготовлен к тому, что эти мужички засучат рукава и потузят друг друга, но вместо того [он] видит, что они кинули один на другого мрачный взгляд и!! тут обыкновенно автор поставит несколько точек и прибавит: «и поняли друг друга». [А] иногда даже прибавит: и в этом безмолвии произошла страшная драма и тому подобное. В этом уже и упрекать нельзя, что ли-

цо немного похоже на испанца или француза; этого греха не могли избежать и большие наши романы и... Общий характер этих маленьких романов, котор<ые> в таком изобилии и так скоро вырастают на Руси, есть совершенная детскость. Это будет очень несправедливо, если б мы сказали, что в них видна глупость одна, в чем часто упрекают их наши журналисты. Совсем нет, не глупость, но создание самого незрелого дитяти, которого и то занимает и другое, и того хочется ему и другого, никакой постоянности. Оттуда у него на одной странице столько несообразностей, сколько у другого в целом томе. Каждая строчка у него ниже целой октавой или выше другой. У бесталанного, но опытного человека, набившего руку на писаньи, несообразности становятся явны по прочтении только многих страниц, у бесталанного, но неопытного и молодого, их в одной странице наберется столько, что читатель по ним может вывести безошибочно мнение обо всем сочинении.

Если бы мы привели в пример отсюда несколько страниц, они могли бы заставить

читателей усмехнуться; незачем наполнять листок нашего журнала плохим тогда, когда можно занять место выпискою чего-нибудь хорошего. Во всех этих книгах видно невинное желание написать непременно какой-нибудь романчик. Да простит бог невольные их прегрешения! Нам нечего досадовать на них и сердиться, что они неопрятно изданы и тому подобное. И здесь потому только почтено необходимым сказать о них несколько слов, чтобы <при> другом подобном романе иметь случай не говорить о нем вовсе, а сослаться <на> сказанные нами ныне слова.

**Убийственная встреча, повесть Я. А.
СПб. 1836 г., в тип. Артил. департ.
Воен. Мин. в 8, 113 стр.>**

Эта книжечка вышла, стало быть где-нибудь сидит же на белом свете и читатель ее.

**<Картины мира, или полезное и
приятное чтение для юношества.
Часть 2-я. С.-П.-бург, 1836 г. (4).>**

Заглавие этой книги показывает, что она ошибкою попала в книги литературы.

За несколько лет пред сим на Руси, так же как и в Европе, заметна была вообще охота к чтениям нравственным, являвшимся в виде длинных рассуждений и трактатов. Читатели требовали назидательных, питательных сочинений. Психологические сочинения, печатавшиеся в целых огромных томах, имели значительный перевес над всем прочим. Всё прочее, всё практическое, всё легкое, взятое из жизни, считалось пустым и недостойным. У нас в России в это время вышло чрезвычайно множество подобных книг. Это был век

солидный; впрочем, нужно заметить здесь то, что при всем этом нравственность этого века была не очень чиста, и те, которые читали питательные книги, делали под рукою такие шашни и проказы, которые теперь бы слишком бросились всем в глаза. Замечательно, что в одно время с таким множеством нравственных сочинений появлялись такие безнравственные, что теперь даже отважнейшие из французских писателей посовестились бы написать. Все старики тогда читали душеспасительные книги, вся молодежь, напротив, читала Фоблазов и других, и при внимательном рассмотрении оказывалось даже, что едва ли старики не обгоняли молодежь в своих домашних делах. Такой раздор теории с практикою был повсеместен в конце 18 столетия. В 19 столетии масонские и другие секты, отвлеченный мистицизм поддержали существование подобных философских сочинений, рассуждений, увещаний и трактатов, хотя облеченных уже в другие формы. Они, можно сказать, были виною малого распространения охоты к чтению в нашем обществе, потому что требовали постоянства вни-

мания, некоторого напряжения ума и потому были уделом немногих. Когда Кант, Шеллинг, Гегель, Окен, как художники, обрабатывали науку, облакая ее точными определительными терминами, анатомически дробя, разделяя и соединяя в единство великую область мышления, их мнения распространялись только в кругу небольшом их слушателей, понимавших трудный, немногословный, почти математический язык их. Но когда мысли их начали рассеиваться, германские писатели, если можно так выразиться, среднего класса люди, большею частью довольно умные, но без орлиной мысли и таланта, когда начали они эти идеи расплывать собственным мериллом понимания, когда они облекли эти рассуждения красноречивыми фразами, общепотребительным языком, часто даже лирическим пылом души, то эти творения их распространились повсеместно между всем читающим кругом — и приученные мистицизмом читатели брались охотно за эти книги. В наш век почти общим сочувствием была признана необходимость воплощения всякой мысли практически. Она всегда должна тор-

жествовать, как прекрасную эпоху, это начинающее<ся> соединение теории с практикою, следуя великой, но простой истине, что дела более значат, нежели слова. Живой пример сильнее рассуждения, и никогда мысль не кажется нам так высока, так поразительно высока, так оглушительна своим величием, как когда облечена она [видимой формою], когда разрешается пред нами живым, знакомым миром, когда она, можно сказать, читается духовными нашими глазами из целого создания поэта. Божественный учитель и спаситель наш первый открыл эту высокую тайну, облекши святые божест<венные> мысли свои в притчи, которые слушали и понимали тысячи народов. Итак мы, сделавши такие великие тысящелетние обходы, наконец возвращаемся к той истине, которая была сказана еще в глубине младенческих сердец наших. И вот уже история показывает умам соединение с философией и образует великое здание. И вот уже везде, во всех нынешних попытках романов и повестей, видно стремление осуществить, окрылить или доказать какую-нибудь мысль, и только посредственность быва-

ет виною, что изысканная, неправильная мысль иногда предпочитается глубокой и простой.

<Детский павильон. Книжка, содержащая в себе черты из русской истории, разные повести, разговоры, анекдоты, стихотворения, сказочки и проч., составленная на 1836 год Б.

Федоровым. СПб., в тип. Гинце, 1836, в 16, стр. 320.>

Детский альманах, небольшой магазин, без сомнения, очень приятных для них вещей... Б. М. Федоров — один из старых наших литераторов, писал трагедии, романы, писал и переводил стихотворения во многих родах, но наконец, почувствовав, что всё на свете суета и что нужно иметь слишком много, чтобы расшевелить взрослое наше поколение, принялся издавать книжки для детей. И из наших писателей никто в этом отношении не исполнял своего дела с таким старанием, как он. Он издавал довольно исправно и постоян-

но детский журнал, всегда к новому году готовил нам какой-нибудь подарок в виде альманаха. Академия Российская избрала его в свои члены и, хотя он не написал такого ученого рассуждения на шести страницах, в котором говорится обыкновенно, что такой-то говорит вот то-то, такой-то вот то-то, а я полагаю, что этот предмет требует разъяснения. Но при всем том труды его были полезны и сочинения его раскупались. Его имя не заслужило никакого упрека. Альманах его нынешний имеет так же достоинства, как и предыдущие, и дети могут все из него составить себе приятное чтение.

<Прекрасная астраханка, или хижина на берегу реки Оки. Роман, взятый из истинного происшествия. Российское сочинение. Москва, в Универс. тип. 1836, в 12, две части, стр. IV и 42–76.>

Не роман, а разве романчик, потому что в 1-й части 42 страницы, а во 2-й — 76.

<Обозрение сельского хозяйства удельных имений в 1832 и 1833 годах, изданное Департаментом уделов. С.-П.-бург, в тип. Д. Внешней торговли, 1836, в 8, 158, с 4 черт.>

Книжка замечательна во многих отношениях тем, что проливает некоторый статистический свет на средние губернии нашей России. Все удельные имения ныне округлены и заключены в средней полосе. Их нет ни на юге, ни на севере. Они большею <частью> начинаются узким клином от Москвы и тянутся на восток, раздвигался по мере приближения, <к> Уральск<ому> хребт<у>, захваты-

вая земли губерний: Московской, Владимирской, Костромской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Пензенской, Саратовской, Вятской, Пермской и Оренбургской. Кроме того, есть еще удельные имения в губерниях остзейских.

Упомянем слова два о почве и земле, как первых естественных законах организации государственного хозяйства. Центральные земли, то есть земли недалеко от Москвы, губерний Московской, Владимирской, отчасти земли Костромской и Нижегородской, содержат почву песчаную, глинистую, перемежаемую тундрами, илом, кочками, чернозем почти не встречается, — земли, требующие более всего возделки. Далее на юго-во<сток> характер почвы изменяется; южная часть имений Костромской и Нижегородской и северная губерний Казанской, Симбирской и Пензенской составляют другой отдел; в почве меньше глины, меньше тундр, чаще чернозем, и углубляется в землю он несравненно далее, на шесть вершков. Эта почва менее требует возделки предыдущей. Южные имения губерний Казанской, Симбирской и Пен-

зенской и особенно вся Саратовская составляют почти степные пространства. Почва — уже чистый чернозем, тучный, углубляющий<ся> далеко в землю; пески и солончаки уже исключения и находятся только в Саратовской губернии; земля производит почти без всякого удобрения. Земли трех колоссальных губерний Пермской, Вятской и Оренбургской представляют отличный совершенно отдел почвы. В Пермской и Вятской владычествует лес, в Оренбургской сила растительной природы мечет дань кормовых трав по всему своему огромному прос<транству>. Близость Урала и разрушающаяся горная природа дают новые силы растительности. Большое количество мергелю представляет средство для удобрения. Почва при небольших трудах может превзойти ожидания.

Но рассматривая в этой замечательной <книге> работающие силы людей, мы видим еще глубокое младенческое состояние земледелия, несмотря на средства, доставляемые правительством. Усилия рук без сравнения малы относительно пространства земли. Орудия еще много не облегчены, привыч<ка> и

давность обыкновения еще держит место испытующего опыта. Плуг еще доныне тяжел, ленивый медленный серп, бессильный против таких огромных пространств, еще не изгнан косою.

Усилия труда более видны в центральных губерниях, где беднее почва, они слабеют, где почва богаче, и наконец совсем исче<зают> в губерниях Пермской, Вятской и Оренбургской, где людей мало против земли, где дикая природа почвы кладет печать дикости и на самого человека.

Итак, что причина такого состояния земледелия? Эта причина заключается, во-первых, в земле, не в почве земли, но в необык<новенном> пространстве ее, еще несоразмерно превышающем население. На тесном уголке земли, хотя бы почва была бесплодна, земледелие возникает и развивается быстро; вначале вследствие первой необходимости, оно в возрастающей степени делается необходимо, его развивают потребности. Земля и человек идет в равной прогрессии; земля, пробуя все силы его, образует и утрояет его разви<тие>, сметливость. Человек находит беспрестанно

средства обогащать его. Итак, естественное дело, что земледелие в России еще долго будет идти медленно, несмотря на все введенные меры правитель<ства>, потому что это дело веков. И кто думает, что может то произвести один человек в малое время<?>, что производится массами и веками?

Вторая, главная причина заключается в людях. Что же такое русской крестьянин? Он раскинут или, лучше сказать, рассеян нечасто, как семена по обширному полю, из которого будет густой хлеб, но только не скоро. Он живет уединенно в деревнях, отделенных большими пространствами, удаленных от городов — и городов мало чем богаче иных деревень. Лишенный живого, быстрого сообщения, он еще довольно груб, мало развит, и имеет самые бедные потребности. Возьмите земледела северной и средней <полосы>. У него пища однообразна, ржаной хлеб и щи, одни и те же щи, которые он ест каждый день. Возле дома его нет даже огорода. У него нет никакой потребности наслаждения. Много ли ему нужно трудов и усилий, чтобы достать такую пищу и какое другое желание мо-

жет занять его по удовлетворении этой первой нужды, когда окружающая его глубокая простота никакой не может подать идеи. Он способен переменить вдруг<?> свою жизнь, но только тогда, <когда> вокруг его явятся улучшения, а побывавши в городе, русской человек<?> уже бросает земледелие и делается промышленником, и тут вдруг разви<вается> его деятельность и оказывает<ся> его живая, хлопотливая природа; с помощью живости и сметливости он в непродолжительное время делается богачом. Таким образом русской мужик делается решительно гражданином всей Руси, не укрепись ни в каком месте.

Итак, должно ли удивляться, что у нас земледелие в младенческом состоянии? Часто слышны вопросы, отчего у нас хуже земле<деле>, нежели в Европе, и мнения, как нам сравниться с Европой. Это легко сказать. Особливо тем, чей ум не видит страшного преобладания европейского населения над землею и страшного преобладания земли над жителями в России. Во всяком случае правительство действует, руководимое глубокою мудростью, оно обращает преимущественное

внимание на землед<елие>. Земледел добрый, крепкий корень государства в политике<ческом> и нравственном отношении. Купец человек продажный, рем<есленник> человек продажный; всякой промышленник человек подвижный, сегодня здесь, завтра там, но земледел неподвижный элемент государства. Одно из лучших действий правительства в этом отношении есть издаваемые от него результаты хозяйственных отчетов, к которым, в некотором отношении, можно причисл<ить> и эту книгу. Они всегда ясно покажут дело и наведут на мысли, что и как нужно предпринять для улучшения дела.

<Правила построения мореходных и речных пароходов. Перевел с английского корабельный мастер Василий Берков. СПб. 1835 года, в тип. Вингебера.>

Довольно обстоятельное наставление в построении пароходных судов <с> небольшим взглядом на начало и усовершенствование этого искусства.

<Полная ручная кухмистерская книга, выбранная из книжек: 1) Прибавление к опытному повару; 2) Полный кухмистер и кандитер и 3) Продолжение к книге — Полный кухмистер и кандитер; со многими прибавлениями; содержащая объяснение поварских терминов, и рисунок печи для московских калачей, составленная из собственных опытов Герасимом Степановым. Москва, в Универс. типогр. 1835, в 12, стр. VII и 310.>

Если воспользоваться всеми этими рецептами, наставлениями, то можно сварить такую кашу, на которую и охотника не найдешь.

**<Торговый адрес-календарь, или
Всеобщий коммерческий указатель
Российского государства на 1836
год, составленный Викентием
Жгерским, чиновником для особых
поручений в Министерстве
финансов, разных ученых обществ
и иностранных академий
действительным членом, СПб. 1836 в
тип. Вингебера, в 8, стр. 128.>**

Торговый адрес-календарь, как адрес-календарь, очень не полон и неудовлетворительно составлен. При этом сюда вошли статьи по части промышленности и даже проекты не без достоинств, но здесь представляющиеся совершенно отрывками непоказывающими никакого плана в издании. Продается очень дорого по объему, какой имеет книжка.

РЕЦЕНЗИЯ ДЛЯ «МОСКВИТЯНИНА»

Утренняя заря. <Альманах на 1842 год, изданный В. Владиславлевым. С.-Петербург. В типогр. III отдел, собств. е. и. в. канцелярии. 1842 г., в 16-ю, 369 стр.>

Начнем блестящим изделием типографической роскоши, легким, сверкающим цветом, приветствующим наступающий 1842-й год.

Альманах Утренняя заря с каждым годом издается роскошней. Он украшен теперь портретами красавиц Петербурга. Портрет ее импера<торского> высочества Марьи Александровны предводит ими. Выражением и мыслью сквозят черты его, и верно всякой русской накануне Нового года всмотрится в них внимательней, как во что-то светлое, пророческое. Все прочие портреты прекрасны. Не без тайной внутренней гордости рассматриваешь их, видя, что едва ли красавицы севера не возьмут верх над красавицами,

украшающими европейские кипсеки. Портрет графини Елены Миха<й>ловны Завадской блещет всею роскошью ее неувядаемой красоты. Светлая ясность простоты отражается в лице графини Софьи Александровны Бенкендорф. Южной полнотою взгляда озарено лицо баронессы Екатерины Николаевны Менгден. Наконец тип чисто славянской красоты виден в профиле княжны Марьи Ивановны Барятинской. Помещение портретов сияющих наших современниц есть у нас дело еще новое. Их будет рассматривать с жадностью житель отдаленного угла России, куда едва доходят слухи о столице, и не один одаренный высоким художественным вкусом полюбуется ими,

*Благоговевя богомольно
Перед святыней красоты*

как сказал Пушкин. И всякой на этот текущий год будет еще радостней дарить или получать Утреннюю<ю> зарю.

Жаль подвергнуть это блестящее изделие черствому перу суровой критики. Она пред ним остановится, как пред нежным мотыль-

ком или цветком, боясь дуновеньем своим лишить его свежести. Содержанье его вполне соответствует своему значению. Это легкое будуарное чтение красавицы. Светский слог, гладкость языка, строгое приличие во многих повестях и легкая грациозность некоторых стихов, словом это сияющая игрушка. Повести самого издателя блещут живостью и легкостью. В них то же обычное ему искусство незначащий предмет обращать в занимательный. Картезианский монастырь Жуковой и Черногорцы Надеждина выходят рельефнее других... Что до стихов, то читатель, верно, остановится над Любовью мертвеца Лермонтова, Дорожною думою князя Вяземского. Кроме того, мелькают в Утренней заре имена Кольцова, Бенедиктова, графа Соллогуба, Кукольника. Но зачем рассказывать, что в ней читатель найдет? Пусть лучше разносится этот блестящий мотылек по всем концам России и светло поздравляет с Новым годом всех от Камчатки до берегов Тавриды.